

СОВЕТСКАЯ ТЮРКОЛОГИЯ

АКАДЕМИЯ НАУК СССР



АКАДЕМИЯ НАУК
АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ССР



БАКУ—1985

4

АКАДЕМИЯ НАУК СССР
АКАДЕМИЯ НАУК АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ССР

С О В Е Т С К А Я ТЮРКОЛОГИЯ

ЖУРНАЛ ОСНОВАН В 1970 ГОДУ

Выходит 6 раз в год

№ 4

ИЮЛЬ—АВГУСТ

БАКУ—1985

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Г. А. АБДУРАХМАНОВ, З. А. АХМЕТОВ, Н. А. БАСКАКОВ, М. З. ЗАКИЕВ,
С. Н. ИВАНОВ, С. К. КЕНЕСБАЕВ, А. Н. КОНОНОВ, Х. Г. КОРОГЛЫ,
М. К. НУРМУХАМЕДОВ, Б. О. ОРУЗБАЕВА, Г. З. РАМАЗАНОВ,
И. С. СЕИДОВ (заместитель главного редактора), Э. Р. ТЕНИШЕВ, Е. И. УБРЯТОВА,
Б. Ч. ЧАРЫЯРОВ, М. Ш. ШИРАЛИЕВ (главный редактор)

Ответственный секретарь — Н. Г. НАДЖАФОВ

Адрес редакции: 370143, Баку-143, просп. Нариманова, 31. Академгородок.

СТРУКТУРА И ИСТОРИЯ ЯЗЫКА

В. Г. ГУЗЕВ

О ЗНАЧЕНИЯХ ВЗАИМНОГО И ПОНУДИТЕЛЬНОГО ЗАЛОГОВ

(НА МАТЕРИАЛЕ СТАРОАНАТОЛИЙСКО-ТЮРКСКОГО ЯЗЫКА)

Предлагаемый анализ семантики двух тюркских залоговых форм опирается на нижеследующие теоретические положения.

Исключительно большое научное значение имеет разработка содержательного представления о языке как об онтологической реальности. И. А. Бодуэн де Куртенэ считал его «психическо-общественным явлением»¹. Е. Д. Поливанов понимал язык как «совокупность или систему ассоциаций между представлениями речевыми (представлениями звуков, слов, частей слов, предложений) и представлениями внешнего мира или так называемыми „внеязыковыми“ (т. е. понятиями, которые выражаются в языке), независимо от того, существует ли эта система в уме большого или малого числа лиц, или даже только в уме одного лица»². Известно развернутое содержательное определение языка, предложенное Г. П. Мельниковым³. Для решения поставленных в настоящей работе задач достаточно использовать следующее несколько упрощенное представление, основанное на трактовке этого понятия Г. П. Мельниковым: язык — объективно существующий в психике человека (и в этом смысле идеальный) естественный коммуникативный механизм, основными составными элементами которого являются: (1) монемы — двусторонние единства, состоящие из «узואально ассоциированных» социальных образов — значений (семантем) и образов (речевых) знаков; (2) структурные единицы — компоненты фрагментов, подсистем языковой системы, представляющие собой знания способов, моделей, правил линейного расположения знаков в речи.

Высказывания соотносятся с объективной реальностью не прямо, а опосредованно, через мыслительные единицы, образы, в которых действительность отражается в сознании⁴. Нельзя считать приемлемым распространенное представление, согласно которому означаемое, семантика «предложения» представляет собой некий фрагмент действительности, денотат, «единичное событие», «индивидуальную денотативную ситуа-

¹ И. А. Бодуэн де Куртенэ. Избранные труды по общему языкознанию. Т. II. М., 1963, стр. 163—174.

² Е. Д. Поливанов. Введение в языкознание для востоковедных вузов. Л., 1928, стр. 40—41. Ср. также: Ф. Соссюр. Труды по языкознанию. М., 1977, стр. 52—53.

³ Г. П. Мельников. Системология и языковые аспекты кибернетики. М., 1978, стр. 267—290.

⁴ См.: Г. П. Мельников. Указ. раб., стр. 253—290. См. также: М. Д. Степанова, Г. Хельбиг. Части речи и проблема валентности в современном немецком языке. М., 1978, стр. 154—159.

цию»⁵. Нельзя, следовательно, безоговорочно соглашаться и с предположением, что говорящий, производя высказывание, соотносит означаемое знаков с «признаками, присутствующими в референтах»⁶. Более соответствует реальному соотношению между референтным уровнем и коммуникативными единицами представление, согласно которому говорящий соотносит языковые значения не непосредственно с объектами действительности, а со своими мыслительными образами, в которых эти объекты отражаются⁷.

Необходимо различать значения (семантемы) как внутриязыковую семантику и смыслы как неязыковую семантику, как единицы мыслительного содержания, которое в актах коммуникации передается с помощью языковых средств⁸. Из этого следует, что при анализе текста, речевых единиц с целью познания языка поиск должен быть направлен на выявление значений, их отделение от смыслов, ибо смешение того и другого представляет собой смешение языка и мышления.

Между смыслом и передающим его текстом могут быть разные соотношения с точки зрения адекватности и полноты передачи. Важно сознавать, что часть смыслового содержания, как справедливо заметил Э. Сепир, может оставаться «без выражения»⁹.

В свете разграничения понятий «значение» и «смысл» иной, отличной от традиционной, трактовки требуют проблемы полисемии языковых средств, общих (инвариантных) и частных (комбинаторных, синтагматических и т. д.) «значений», а также имплицитно выражаемой семантики¹⁰.

В большинстве случаев «многозначность» речевого знака на самом деле представляет собой передачу разных смыслов посредством одного значения. Само языковое средство является при этом однозначным. Его значение и «есть тот инвариант, который сохраняется при обозначении любого смысла с помощью данного знака»¹¹. Конкретные смыслы, которые обнаруживаются в речи, но передаются посредством одного «общего значения», и есть, видимо, то, что принято считать комбинаторными, синтагматическими, частными, отдельными «значениями», наконец, оттенками «значений» слов и формантов, если не учитывается различие между значениями и смыслами.

В случае внутриязыковой полисемии, то есть когда одна монема действительно имеет разные значения, едва ли вообще может идти речь об инвариантном или общем значении. Следует полагать, что при порождении и восприятии высказываний коммуникантами производится селекция, отбор того значения многозначной монемы, которое пригодно для репрезентации нужного смысла.

Имплицитная семантика в контексте излагаемых представлений трактуется как та часть мыслительного содержания, которая по той или

⁵ В. С. Храковский. Конструкции пассивного залога (определение и исчисление). — В кн.: «Категория залога. Материалы конференции», Л., 1970, стр. 27. Ср. также: «Общее языкознание. Внутренняя структура языка», М., 1972, стр. 308.

⁶ «Общее языкознание. Внутренняя структура языка», стр. 268.

⁷ См.: Г. П. Мельников. Указ. раб., стр. 267—290. Ср. также: М. А. Абдуразаков. Грамматическая структура простого предложения (на материале типологического сравнения французского, русского и узбекского синтаксиса). Ташкент, 1978, стр. 18.

⁸ См.: Г. П. Мельников. Указ. раб., стр. 253—258, 267—290.

⁹ Э. Сепир. Язык. Введение в изучение речи. М., 1934, стр. 72.

¹⁰ Ср., например: Е. И. Шендельс. Многозначность и синонимия в грамматике (на материале глагольных форм современного немецкого языка). М., 1970; А. В. Бондарко. Грамматическая категория и контекст. Л., 1971, стр. 103—105.

¹¹ Г. П. Мельников. Указ. раб., стр. 272—273. См. также: *его же*. О типах дуализмов языкового знака. — «Филологические науки», 1971, № 5, стр. 54—69.

иной причине не получила в тексте эксплицитного (то есть путем непосредственной репрезентации речевыми единицами) выражения и не относится к языковой системе¹².

Признание языка элементом объективной реальности предполагает принятие точки зрения, согласно которой и языковые значения представляют собой реально существующие объекты, которые должны рассматриваться как скрытые от непосредственного наблюдения единицы, проявляющие себя в речи своими разнообразными функциональными особенностями, в частности передаваемыми конкретными смыслами, «частными значениями»¹³. Нельзя согласиться с утверждением Л. Ельмслева: «В абсолютной изоляции ни один знак не имеет какого-либо значения; любое знаковое значение возникает в контексте...»¹⁴.

Языковые значения — самостоятельные (лексические) и несамостоятельные (служебные)¹⁵ рассматриваются как (языковленные) образы разных уровней абстракции, которые в актах коммуникации вступают в окказиональную или узуальную связь с неязыковыми мыслительными образами¹⁶.

Значения, в которых заключена второстепенная, с позиции носителей данного языка, информация о свойствах или связях элементов объективной действительности, отраженных и закрепленных в самостоятельных (прежде всего в лексических) значениях, и носители которых не используются в качестве самостоятельных коммуникативных единиц, рационально именовать **служебными**.

Служебные значения, ассоциированные с техническими, словоизменительными морфологическими средствами, одна из разновидностей которых представлена в речи аффиксами, относятся к числу **грамматических значений**.

Порождение словоформ и высказываний — это прежде всего отбор монем из имеющегося языкового арсенала и линейное расположение соответствующих этим монемам речевых знаков, производимые с целью передать с той или иной полнотой какое-либо мыслительное содержание. Пригодность монем к участию в формировании словоформ и словосочетаний определяется содержанием их значений. Несмотря на свойственные каждому языку особые законы синтагматики, на известную автономность языковых правил построения знаковых цепочек, следует тем не менее говорить о наличии зависимости морфологической и синтаксической синтагматики как от передаваемых смыслов, так и от значений привлекаемых коммуникантом языковых единиц. Это значит, что как в участии показателей какой-либо категории в организации словоформ, так и в структуре синтаксических конструкций, строящихся на базе форм этой категории, необходимо видеть проявление внутренних морфологических свойств морфем или форм, в первую очередь их грамматических значений¹⁷.

¹² Ср.: Н. А. Панина. Имплицитность языкового выражения и ее типы. — В кн.: «Значение и смысл речевых образований», Калинин, 1979, стр. 58—59.

¹³ Ср.: С. Н. Иванов. Курс турецкой грамматики. Ч. I. Грамматические категории имени существительного. Л., 1975, стр. 73.

¹⁴ Л. Ельмслев. Прологомены к теории языка. — В кн.: «Новое в лингвистике», вып. I. М., 1960, стр. 303.

¹⁵ Ср.: А. А. Реформатский. Введение в языковедение. М., 1967, стр. 250—251.

¹⁶ Г. П. Мельников. Системология..., стр. 255.

¹⁷ Ср.: С. Н. Иванов. Родословное древо тюрков Абу-л-Гази-хана. Грамматический очерк (Имя и глагол. Грамматические категории). Ташкент, 1969, стр. 20; Ф. М. Березин, Б. Н. Головин. Общее языкознание. М., 1979, стр. 208—212.

Взаимный залог. Форма, образуемая с помощью показателя $-(y)\check{s}$ ¹⁸, традиционно именуется взаимным или взаимно-совместным залогом. Эти названия связаны с теми «значениями» рассматриваемой формы, которые легко обнаруживаются у нее, наиболее часто встречаются и предстают как ведущие, продуктивные и вместе с тем, в общетюркском плане, как древнейшие¹⁹.

Совместность выражена, например, соответствующей формой глагола *aglamak* 'плакать' в предложении: *Dürlü kullary görä oda janı, aglaşurlar damı içrâ kajnaıu* [ЮЗ, 51] 'Он видит различных рабов, горящих от огня. Плачут (все вместе), кипя в аду'.

Взаимное или взаимно-возвратное «значение» принято видеть у интересующих нас форм переходных глаголов, как в следующем примере у формы глагола *bilmek* 'знать': *Döst jüzina bakmaga gäj safâ pazar gâräk. Döst ilâ bilişmägä cân gözi bîdâr gâräk* (ЮЭ, 105a) 'Для того, чтобы смотреть в лицо друга, необходим добрый взгляд (исполненный) чистоты. Для того, чтобы дружить (букв. «знаться») с другом (т. е. с богом), глаза души должны быть бдительными'.

Если сравнить между собой словоформы *agla-ş-* 'плакать вместе' (непереходный глагол) и *bil-iş-* 'знать друг друга' (переходный), то нельзя не заметить, что «значения» совместности и взаимности выражаются соответствующей словоформой в целом. Это подтверждается пространственным в тюркском языкознании мнением, что совместное «значение» имеют рассматриваемые формы непереходных глаголов, а взаимное — формы переходных глаголов²⁰. А поскольку исходные основы разные, то можно думать, что различные общие «значения» производных основ обуславливаются различиями семантики исходных основ, то есть теми компонентами семантики, с которыми связана непереходность и переходность глаголов.

Следовательно, допустимо, что аффикс $-(y)\check{s}$ и в том и в другом случае имеет одно и то же значение. Иными словами, можно рассматривать его как самостоятельный языковой знак, означающее которого нам известно, а его значение, то есть закрепленный за ним «коммуникативный образ» (Г. П. Мельников), надо установить.

Общим, как представляется, для «значений» совместности и взаимности является указание на то, что действие совершается не одним производителем, а неким множеством таковых, то есть более, чем одним²¹. Именно это представление о некоем множестве производителей действия, закрепленное за показателем, о котором идет речь, может быть, и следует считать его единственным грамматическим значением. Э. В. Севортян справедливо отмечал, что взаимно-совместный залог «обозначает отношение между действием и его исполнителем»²².

Изложенная интерпретация предполагает, что у значения взаимного залога нет компонента, который бы раскрывал характер, структуру взаимоотношений производителей действия между собой. Именно это

¹⁸ Здесь и далее приводится только один, заднерядный, вариант аффиксов, подчиняющихся действию нёбной гармонии гласных.

¹⁹ См., например: А. Н. Кононов. Грамматика современного узбекского литературного языка. М.—Л., 1960, стр. 188—190; Э. В. Севортян. Аффиксы глаголообразования в азербайджанском языке. М., 1962, стр. 528—540.

²⁰ См., например: А. Н. Кононов. Грамматика современного турецкого литературного языка. М.—Л., 1956, стр. 194—195.

²¹ Ср.: Г. Ф. Благова. Заметки о взаимно-совместном залого. — «Советская тюркология», 1976, № 6, стр. 47—49.

²² Э. В. Севортян. Указ. раб., стр. 529.

обстоятельство и позволяет обсуждаемой форме служить средством передачи ситуаций, в которых производители находятся в разных отношениях, в частности, как в приведенных примерах, совместно осуществляют какое-либо действие («вместе плакать») или взаимодействуют («знать друг друга»). Воспринимающий текст коммуникант в случае, когда эти отношения не выражаются лексическими средствами, «догадывается» о них чаще всего, видимо, потому, что узнает один из обычных, наиболее часто передаваемых смыслов. Иными словами, совместность и взаимность как конкретные формы взаимоотношений между производителями действия можно рассматривать как узуальные, то есть обычно наиболее часто выражаемые смыслы²³.

Материал показывает, что рассматриваемая залоговая форма способна передавать и такие отношения между производителями, при которых каждый из них является косвенным объектом действия: *Biri birisinün hālin soruṣdu* (*Dāstan-i Ahmed Nāgami*, TTS, V, стр. 3519) '(Они) спросили друг у друга о здоровье'. В приведенном примере нельзя видеть «взаимно-переходного» отношения между производителями, поскольку при глаголе «спрашивать» предмет, к которому адресован вопрос, может быть выражен только косвенным дополнением в дательном или исходном падеже, а прямое дополнение, как это видно из примера, называет предмет, о котором спрашивают.

Сформулированное значение показателя взаимного залога выступает в высказываниях как «средство образного намека на смысл или напоминания смысла»²⁴. Так, в следующем примере взаимный залог глаголов *bil-* 'знать' и *kaḡ-* 'смешивать, примешивать' передает взаимность, хотя этот смысл лексически никак не выражен: *Cānlar anda biliṣdi, ol-dām göñül iliṣdi. 'Ālām xalqy karyṣdy, dāñizlār kajnar ikān* (ЮЭ, 1486) 'Души там познакомились, сердце тотчас привязалось. Народ перемешался, в то время как моря бурлили'.

Лексическое выражение взаимоотношений производителей предстает в синтаксических конструкциях в виде косвенных дополнений (как в приведенном выше примере *Dost ilā biliṣmāgā* 'Для того, чтобы дружить («знаться») с другом...'). Построение сочетаний залоговых форм с такими дополнениями истолковывается с отстаиваемых позиций как отражение в конечном итоге связей элементов референтного уровня и реализация определенного коммуникативного замысла. Указанные дополнения передают те фрагменты описываемых ситуаций, которые не «покрываются» значением залога. Сочетания этих дополнений с дополняемым представляются столь же свободными, как и в случае, когда для передачи соответствующей информации привлекается не залог, а лексика, если изменить приведенный пример следующим образом: **Dōst ilā biri birini bilmāgā*... 'Для того, чтобы с другом знать друг друга...'

Сказанное позволяет полагать, что сам по себе залоговый показатель и соответственно форма взаимного залога имеют лишь косвенное отношение к сочетаемости глагола с дополнениями или обстоятельствами. Последние суть лексические средства передачи тех элементов референтного уровня, которые находятся за пределами фрагмента, передаваемого залоговой формой. Подтверждением этого могут служить такие случаи, когда переходный глагол, выступая в залоговой форме, передает иную ситуацию, такую, в которой производители совместно совершают

²³ См.: Г. П. Мельников. Системология..., стр. 267—290.

²⁴ Там же, стр. 283.

действие, направленное на прямой объект: Bān şāni sāvdügümi sōjlāşūr xās ū 'ām (ЮЭ, 141a) 'То, что я тебя люблю, обсуждают (все) и знать, и чернь'. Ср. также турецкий пример: Paşa ile bu görüşleri paylaşıyor-duk (газ.) 'Мы с (Исметом) Пашой разделяли эти взгляды'. Как видно из примеров, передача ситуаций другого типа обуславливает иную сочетаемость глагола в форме взаимного залога с дополнениями.

Можно утверждать, что синтагматическая сочетаемость обсуждаемых глагольных форм согласуется с залоговым значением. В принципе при глаголе в форме взаимного залога могут быть лишь дополнения и обстоятельства, которые передают участников или характеристики таких ситуаций, в которых говорящий обнаруживает взаимоотношение между действиями и предметами, соответствующее значению залога, то есть наличие у действия более одного производителя.

Сформулированное грамматическое значение аффикса взаимного залога основано на материале староанатолийско-тюркского языка, в котором формы этого залога передают наиболее часто в качестве узуальных смыслов совместность²⁵ или взаимность в отношениях между производителями действия. Материал других тюркских языков, как известно, свидетельствует, что взаимный залог может передавать ситуации и с иными отношениями между производителями, в частности: соревнования, помощи или содействия, а также затрагивать и сферу объектов действия («взаимность или совместность в применении к предмету действия» и «распространенность действия на множество объектов»)²⁶.

В староанатолийско-тюркском языке указанное грамматическое значение взаимного залога, как представляется, может служить одним из ориентиров при решении вопроса о том, является ли та или иная конкретная производная основа продуктивным образованием или нет. Если семантика такой основы противоречит идее множества производителей действия, видимо, следует считать, что основа не имеет связи с механизмом продуктивного залогообразования и не должна рассматриваться как залоговая форма. Таковы, например, глаголы: bārkiş- 'крепнуть, укрепляться', bulaş- 'пачкаться', şukraş- 'бурлить', dutuş- 'воспламеняться', eriş- 'прибывать, наступать', уакуş- 'приближаться', ulaş- 'достигать' и другие, обозначающие такое действие, которое может осуществляться одним производителем, как в примере: gāndüzünā der ögünj ācāl erişmādin saṇa pāgāhāp (Ч, 52) 'одумайся, пока не подоспел твой смертный час'.

Известно, что взаимный залог образуется не от любого глагола. Это обстоятельство служит основанием для утверждения, что он не может рассматриваться «в качестве чистой грамматической формы»²⁷, то есть в качестве словоизменительной категории. Эта точка зрения, несомненно, связана с положением общего языкознания о том, что словоизменительная категория должна быть тотальной, то есть ее формы должны образовываться от любых основ независимо от их лексического значения.

Следует сказать, что это положение общего языкознания само еще нуждается в доказательстве, ибо оно называет лишь внешний признак наиболее часто встречающегося явления, не вскрывая механизма взаимосвязи универсальности и словоизменения. Но ведь и некоторые факты индоевропейских языков показывают, что словоизменительные

²⁵ Здесь не проводится различия между совместностью и множественностью. Ср.: Э. В. Севортян. Указ. раб., стр. 530—531.

²⁶ Э. В. Севортян. Указ. раб., стр. 531.

²⁷ Там же, стр. 530.

категории могут подвергаться ограничениям. Нельзя игнорировать, например, такие явления, как русские *pluralia* и *singularia tantum*, отсутствие у ряда русских глаголов формы 1-го лица единственного числа, ограниченность использования глагольного многократного вида в русском языке и др.

Вопрос о природе ограничений в образовании или функционировании тех или иных форм требует самостоятельной разработки. Эти ограничения могут вызываться, видимо, разными причинами. Но легко себе представить, что если одна и та же служебная информация передается в языке разными средствами, то эти средства могут соперничать друг с другом, как в случае с взаимным залогом и финитной формой глагола 3-го лица множественного числа в узбекском языке²⁸. Это соперничество может, по-видимому, и стать причиной ограничений, которые едва ли можно в таком случае рассматривать как признак словообразовательной природы категории.

То обстоятельство, что взаимный залог имеет сформулированное выше значение, а его продуктивные формы не затрагивают лексического значения исходной основы, можно считать достаточным основанием для трактовки его как явления формообразования. Однако его способность в ряде тюркских языков взаимодействовать с личной формой глагола 3-го лица множественного числа, брать на себя функции последней вплоть до выражения почтительности и уничижительности²⁹ служит дополнительным подтверждением этой точки зрения, ибо названная личная форма вряд ли может принадлежать к словообразовательным формам.

Понудительный залог. Примеры использования формы понудительного залога:

1. Bāri gāl, gānci saṇa buldurajyn,
Saṇa buldurmajany buldurajyn (ЮЭ, 45a)
'Иди сюда, я помогу тебе найти сокровище,
Помогу тебе найти то, что тебе мешает его найти'.
2. Ol buṇardan ki, Xyzr su içdi...
İçüräm bān saṇa ki kurtyla sän (СВ, I, 21—22)
'Из того источника, из которого пил Хызыр,
Дам тебе испить, чтобы ты спасся'.
3. Gidärmägil sözümi kulaguṇdan (Ч, 4)
'Не позволяй моим словам ускользать из твоих ушей'.

В приведенных примерах в форме понудительного залога выступают глаголы: bul- 'находить', iç- 'пить', git- 'уходить, удаляться'. Значение залоговых показателей отражено в переводах примеров смысла: «помогу найти», «мешает найти» (глагол снабжен показателем отрицания, и словоформу можно также перевести: «то, что не дает тебе найти»), «дам испить», «не позволяй ускользать». Эти и подобные примеры убеждают: производная основа отличается от исходной указанием на то, что действие является участником отношения, которое можно трактовать как побуждение, помощь, предоставление возможности («дать»), позволение и т. п. Образ этого отношения, представляющий собой некую абстракцию, отвлеченную из множества более конкретных отношений названного типа, видимо, и следует принять как грамматическое значение показателей понудительного залога. Это значение, которое нашло

²⁸ См.: А. Н. Кононов. Грамматика современного узбекского литературного языка, стр. 189; Г. Ф. Благова. Указ. раб., стр. 54—56.

²⁹ См.: Г. Ф. Благова. Указ. раб., стр. 56—58.

отражение в самом принятом в тюркском языкознании названии залога («понудительный») и в широко употребляющемся термине «каузатив», думается целесообразно именовать, в соответствии с утвердившейся в языкознании традицией, «каузальным» или «причинным». Следует учитывать, что тюркский понудительный залог — морфологическое синтетическое средство, имеющее то же коммуникативное предназначение, что и каузатив любого другого языка³⁰.

Механизм функционирования понудительного залога можно представить себе следующим образом. Для широкого спектра служебной информации в диапазоне от грубого принуждения, «заставления» [например, *päfsün öldür* (СВ. I, 10) 'убей свою душу'] до попустительства, предоставления возможности [например: *sağa ugratma kibrün ändişäsin* (ЮЭ, 11a) 'не давай помыслам, (навеванным) гордостью навещать тебя'] говорящий использует один из показателей понудительного залога, то есть языковой знак со значением каузации. Исходная основа называет конкретное действие, подвергающееся каузации. Коммуникант, воспринимая текст, интерпретирует, осмысливает его и догадывается, какой конкретный смысл в указанном семантическом диапазоне имел в виду тот, кто использовал в тексте залоговую форму.

В свете сказанного ясно, что каузатив трактуется как залог, имеющий только одно значение, с помощью которого он способен передавать различные смыслы, в том числе «фактитивность» и «пермиссивность»³¹.

Все эти смыслы, на которые намекает или о которых напоминает значение каузации, легко поддаются передаче описательными средствами с использованием глагола с каким-либо конкретным каузативным значением (как, например, в следующих турецких предложениях: *o çalıştırmağa zorladılar* 'его принудили работать'; *gelmenizi istedik* 'мы попросили вас прийти'). В речи оба способа выражения каузативной информации — грамматический, то есть с помощью залоговой формы, и описательный, лексический — сосуществуют. Создается впечатление, что в некоторых условиях, например, при отсутствии необходимого контекста или при передаче таких ситуаций, где тот или иной характер каузации не самоочевиден, лексический способ оказывается более точным.

Как и в случае с взаимным залогом, в значении каузации отражен и закреплён лишь фрагмент ситуаций определенного типа, каузативных ситуаций. Поскольку побуждаемыми к действию являются предметы, есть основание утверждать, что и в этом значении отражено взаимоотношение действий с предметами. Последнее обстоятельство — важное свидетельство в пользу традиционной трактовки каузатива как **залоговой** формы³².

Каузативная ситуация может в зависимости от коммуникативных условий и задач передаваться с разной степенью полноты. При необходимости назвать предмет, побуждаемый к действию, слово, которое обозначает этот предмет, может употребляться без какого-либо падежного показателя (как в вышеприведенном примере *päfsün öldür* 'убей свою душу'), но может выступать и в форме винительного или дательного падежа (как в приведенных примерах: *gidärmägil sözümi...* 'не позволяй моим словам ускользнуть' и *içügäm bân sağa* 'дам тебе испить'). При этом основная форма или винительный падеж имени используются для ука-

³⁰ См., например: В. П. Недялков. Каузативные конструкции в немецком языке. Аналитический каузатив. Л., 1971; «Типология каузативных конструкций. Морфологический каузатив». Л., 1969.

³¹ Иную точку зрения см.: В. П. Недялков. Каузативные конструкции в немецком языке, стр. 161.

³² См.: В. П. Недялков. Каузативные конструкции в немецком языке, стр. 164—165.

зания на каузируемый предмет в том случае, если в понудительном залоге выступает непереходный глагол (в примерах «умирать», «уходить, ускользать»), если же в понудительном залоге выступает переходный глагол (как в примере с глаголом «пить»), то его способность иметь при себе прямое дополнение никак не нарушается образованием залоговой формы, а указание на побуждаемый к действию предмет достигается посредством дательного падежа (как в приведенном примере с адресом ЮЭ, 45а, а также: Ja'qūba kim sävdürdi äjitgil sâni (ЮЗ, 44) 'Скажи, кто пробудил у Якуба любовь к тебе (т. е. 'кто побудил Якуба любить тебя')?').

Все сказанное относится к продуктивным формам понудительного залога. В текстах памятников встречаются хорошо известные основы, которые являются производными лишь исторически, ибо в языке не используются соотносительные исходные основы: *göstär-* 'показывать', *götür-* 'уносить', *kurtar-* 'спасать'. Материал свидетельствует, что сопряжение лексического значения основы с каузативным значением залогового аффикса легко становится базой, на которой развиваются самостоятельные лексические значения: *düş-ür-* 'побудить упасть' > 'убить (зверя)' (TTS, II, стр. 1355). Иногда производная залоговая основа является синонимом непроеизводной основы: *jandur-* = *dütüz-* = *jak-* 'жечь'.

Все сказанное позволяет сделать нижеследующие основные выводы:

1. С изложенных позиций взаимный и понудительный залогов необходимо признавать однозначными (односемантическими), но «многосмысловыми» глагольными формами.

2. Собственно языковое значение взаимного залога представляет собой абстрактный образ, содержащий информацию о том, что у действия более одного производителя.

3. Значение понудительного залога представляет собой абстрактный образ, в содержании которого отражено и закреплено вступление действия в отношение с предметом, побуждаемым, «каузируемым» к совершению этого действия.

4. Все иные «частные значения», передаваемые в высказываниях посредством словоформ взаимного и понудительного залогов, трактуются как **смыслы**, то есть как разновидности выражаемого мыслительного содержания, не входящего в содержание залоговых **значений**.

5. Обе залоговые формы являются глагольными морфологическими средствами передачи конкретных разновидностей взаимоотношений действий с предметами.

ИСТОЧНИКИ

- СВ — тюркские стихи Султана Веледа. Издание: М. Mansuroğlu. *Sultan Veled'in Türkçe Manzumeleri*. İstanbul, 1958.
- Ч — *Çarxâmâ* («Поэма о превратностях судьбы»). Издание: М. Mansuroğlu. Ahmed Fakih. *Çarhname*. İstanbul, 1956.
- ЮЗ — *Jûsuf û Zulaixa* («Юсуф и Зулейха»). Издание: D. Dilçin. Şeyyad Hamza. *Yusuf ve Zeliha*. İstanbul, 1946.
- ЮЭ — стихи Юнуса Эмре. Издание: A. Gölpınarlı. Yunus Emre. *Risâlat al-Nushiyya ve Divân. Önsöz — Lûgat — Açılama*. İstanbul, 1965.
- TTS — XIII. *Yüzyıldan Beri Türkiye Türkçesiyle Yazılmış Kitaplardan Toplanan Tanıklarıyla Tarama Sözlüğü*. I—VIII. Ankara, 1963—1977.

ЯЗЫКОВЫЕ СВЯЗИ

М. Р. ФЕДОТОВ

О НЕКОТОРЫХ ТЮРКСКИХ ЗАИМСТВОВАНИЯХ В МАРИЙСКОМ ЯЗЫКЕ*

Тесные контакты между поволжскими тюрками и финно-угорскими племенами и народностями существуют с древнейших времен. Исследованию взаимовлияния тюркских и финно-угорских языков посвящена обширная литература. В известной мере эту литературу пополняет недавно вышедший из печати второй том «Этимологического словаря марийского языка» [1]. Настоящая статья посвящена этимологизации марийских слов с анлаутным *в* и освещению этой проблемы в указанном словаре.

(1) *Вате* II Л, В, *вӱтӱ* Г, СЗ — обращение мужа к жене.

Перенос семантики с *вате* I [1, с. 62].

По мнению автора словаря, чув. *ватти* 'старуха' (обращение к жене) является паронимичной формой, «поэтому явно ошибочно утверждение Ю. Вихмана и М. Р. Федотова о заимствовании мар. слова из чув. источника... В других тюрк. яз. соответствий не обнаружено» [1, с. 62].

Прежде всего следует заметить, что, во-первых, приведенные Ф. И. Гордеевым марийские слова представлены не в вокативной форме, поскольку они не имеют самого показателя вокатива, а в номинативной со значением «женщина», «жена». Во-вторых, здесь нет и «переноса семантики с *вате* I». Еще Г. Рамstedт в 1898 году записал в д. Тушнал (близ Козмодемьянска) как номинативную (*βātē* 'das Weib'), так и вокативную (*vāti*) формы, причем последняя полностью совпадает с чув. *ватти*, где *-и* является стяженной формой тюркского вокатива (*-ей* > *-и*): марГ. *ӱви* < чув. СЗ *апи* 'мама!', марГ. *ӱти* < чув. СЗ *атти/ати* 'папа!' и другие [3, с. 29]. Ф. И. Гордееву следовало помнить об одной весьма важной в данном случае этнографической детали, заключающейся в том, что в прошлом как у чувашей, так и у марийцев существовал обычай женить молодых людей на старых девах. Такой муж обращался к жене не иначе как *ватти*! 'Эй, старая!' (от чув. *ватӱ* 'старая, пожилая'). Иными словами, произошел семантический сдвиг: «старая» > «жена».

Данное обстоятельство учитывалось не только Ю. Вихманом, но Г. Рамstedтом: монг. *ötel*- 'стариться' (ср. *ötegü* 'старик, медведь'), тюрк. *ötügen* 'родина тюрков', тунг. *уту* 'старый', чув. *ватӱ* 'старуха' [4, § 81, с. 149].

Монг. *ötel*-, на наш взгляд, совпадает с формой чувашского страдательного залога *ватӱл*- 'стариться'. Казалось бы ясно, что основой этого

* По страницам «Этимологического словаря марийского языка» Ф. И. Гордеева. Том 2. В—Д. Йошкар-Ола, 1983.

глагола является *ватă* 'старый, ветхий, древний', но Н. И. Ашмарин по этому поводу заметил, что, быть может, *ватăл*- происходит от *ват-* 'бить' ~ тат. *уат-* 'ломать' (совр. орф. *ват-*. — М. Ф.), тогда *ватăл*-, по-видимому, будет означать «ломаться», «делаться дряхлым, изломанным жизнью», а *ватă* — «изломанный, дряхлый» ~ тат. *уатык* 'ломаный', хотя ни *ватă*, ни *ватăл*- в своем первоначальном значении никогда не употребляются [5, с. 270, сноска 1]. Таким образом, утверждение Ф. И. Гордеева, что «в других тюрк. яз. соответствий не обнаружено» — не подтверждается.

(2) *Витă* Г, В, 'двор' <общемар. **витă* 'хлев и дом (первоначально скот держали в клетки, или нижнем этаже дома)' [1, с. 113]. Автор словаря поясняет: «Последующие исследователи (М. Р. Федотов ИСЧЯ I, с. 78) рассматривали его как чув. проникновение, усматривая в нем образование от глагола *вит-* 'покрывать, проходить насквозь', которому этимологически соответствует совершенно другая лексема *виташ* (*витăш*) Л, В, Г, СЗ 'просачиваться, просачиться; проникать, проникнуть (о жидкости); промокать, промокнуть' (тат. башк. *йт* 'тж'). Более правомерно предполагать о мар. заимств. чув. слова *вите* 'конюшня, хлеб'» [1, с. 114].

М. Р. Федотов пишет о двух совершенно разных глаголах: 1) *вит-* > *вит-аш* 'пронять, пронимать' при тюркских соответствиях *йт*=*от* 'проходить, пройти, пролезать, протекать, скользить' [6, с. 78]; 2) *вите* (<*вит-* 'покрывать'+*е*> мар. *вйта*, марГ. *витă*, марВ. *вича* 'хлев' при тюркских генетических соответствиях: тат. *өретү* 'покрывать', тур. *örtü* 'покрывало, все то, что служит для покрытия; крыша, кровля'; тар., ком., тур., азерб. Радл I, 1234 *ört* 'покрыть, закрыть, запереть'; чаг. Радл I, 1236 *örtük*=*örtü* 'покрывало, вуаль' [6, с. 78]. Во втором случае чув. глагол *вит-* потерял корневое -*р*- и в таком виде послужил основой имени существительного *вите*, в этом качестве вошедшего в марийский язык, причем во все его диалекты и говоры. Таким образом, 1) чув. *вит-* ~ др.-тюрк. *öt-* 'проходить' (сквозь, через, мимо чего-либо); 2) чув. *вит-* ~ др.-тюрк. *ört-* 'покрывать, закрывать'.

Мы не располагаем данными о том, что в современных марийских говорах и диалектах слово *витă* имело еще значение «дом». Автор, допуская это, перекидывает мост к «позднесарматскому наследию: сак. *bi-saa*, ав. *vis-*; пехл. *biita* 'дом', др.-инд. *viis'*-, ср.-перс. *vis* 'дом, усадьба'. К иранскому источнику возводят др.-тюрк. *bistä* 'хозяин постоянного двора' при иран. **viisa-*» [1, с. 114]. Следует, однако, сказать, что неправильно снимать два вопросительных знака, имеющиеся в ДТС (с. 103), относительно сравниваемого иранского слова и перевода заглавного слова.

(3) *Вирлы* Г: *вирлы шамак* 'тяжелое, страшное слово' <*вир* + суф. прилаг. -*лы* [1, 110—111].

Прежде всего о том, употребляется ли в марийском языке отдельное слово *вирлы* (читай: *вирлë*). В «Словаре северо-западного наречия марийского языка» (Йошкар-Ола, 1971) этого слова нет. В «Марийско-русском словаре» (Москва, 1956) и в «Словаре горного наречия марийского языка» (Йошкар-Ола, 1981) *вирлы* как отдельное заглавное слово также не зафиксировано. Между тем Г. Рамстедт приводит отдельное слово *birle* со значениями «gut, brauchbar, segensreich» [2, с. 14], что соответствует чув. *вирлë* в говоре с. Пошкăрт, граничащем с горномарийским: *вирлë сомак каларă мана* [7, т. V, с. 244] 'он сказал мне приятное слово'. Но это лишь одна сторона вопроса. В упомянутом «Словаре горного наречия марийского языка» обсуждаемое слово дано в составе пер-

вого члена изафета: *вирлы шамак* (устн.) 'тяжелое, страшное, неприятное, угнетающее слово', что объясняется также влиянием чувашского языка: чув. *вирлĕ сĕмах* 'крепкое, сильное, разящее слово'. Это особенно чувствуется, когда *вирлĕ* выступает как наречие: *вирлĕ калатĕн* 'побеждаешь словами, прошибаешь насквозь', *вирлĕ лекнĕ а́на* 'тяжело захворала' [7, т. V, с. 244].

Касаясь этимологии марГ. *вирлы*, Ф. И. Гордеев полагает, что «вероятно, заимств. из чув. яз.: *виртле* 'дразнить, показывая язык; раздражать', в котором также вычленяется морфема *-ле*. К сожалению, чув. слово не имеет соответствий в других тюркских языках» [1, с. 110—111].

Здесь, по нашему мнению, дело обстоит несколько иначе. Чув. *вирлĕ* (<*вир* 'верх' + словообр. афф. *-лĕ*) имеет генетические соответствия в других тюркских языках: *ѳр* 'вышележащая часть, маленькое возвышение', *ѳр* 'высокое место, возвышенность', *ѳрѳ* 'верхняя часть, наверху, вверх' [6, с. 77]. Чувашские производные единицы подтверждают это: *вир-е* 'подъем в гору', *вир-ял* 'верховой' (обобщенно: чуваша, живущие в верхнем течении Волги), *вир-е-лле* 'по направлению вверх, в гору, против течения': *сӳс-пус вирелле тӳрса каять* 'волосы встают дыбом' [7, т. V, с. 238].

Чув. *вирлĕ* 'острый, бойкий, стремительный, крепкий, смелый; приятный, чувствительный' [7, т. V, с. 244] из *вирьял-говоров* чувашского языка без какого-либо фонетического и семантического сдвига было усвоено горномарийскими говорами, ареалом которых являются северо-западные территории Чувашской АССР.

(4) **Виса** I и **вися**, **висӓ** Г, СЗ 'весы: мера, мерка' [1, с. 111].

В этой словарной статье автор справедливо отмечает, что обще-мар[ийское] **висӓ* заимств[овано] из чув. яз[ыка]: *визӓ, вице* 'весы', вопреки мнению А. А. Саватковой, возводящей к русскому *весы*... В чув. яз. оно проникло из русск. яз.: олон. *весӓ* 'весы' [1, с. 111].

Такое объяснение не опровергает, а, наоборот, подтверждает ошибочное предположение А. А. Саватковой. Чув. *вице* (<*виц-* 'весить, мерить, измерять, снимать мерку' + словообраз. афф. *-е*) 'мера, мерка; весы' не является русским заимствованием. Тюркское его происхождение очевидно: чув. *виц-* (>марЛ. *вис-аш*, марГ, СЗ *вис'-ӓш* 'вешать, взвешивать, взвесить; мерить, смерить, измерять; прикидывать, прикинуть на весы; измерять, примерить' ~ осм. *ölç-*, каз. *ülçä-* 'мерить, измерять' [8, с. 157], чаг., крым., туркм. *ölçä-*, каз. (= тат.), миш., тоб., тар. *ülçä-*, казах. *ölşö-*, чув. *виц-* 'мерить, измерять' > чер. (= мар.) *вис'* [9, с. 371]. Общетюркское корневое *-л-* в чувашском слове выпало, в таком качестве оно вошло во все диалекты марийского языка.

Что касается русского слова «весы», то оно образовалось от русского «вес» (гира), которое к чув. *виц-* (см. выше его глагольные значения) никакого отношения не имеет. Поэтому этимологизация чув. *виц-* и *вице*, данная З. Гомбоцем, М. Рясняном, а также В. Г. Егоровым [10, с. 55] и М. Р. Федотовым [6, с. 78], вполне приемлема.

(5) **Витараш** Л, В, **витӓрӓш** Г, СЗ 'пронимать, пронять кого-либо' < обще-мар. **витӓрӓш* [1, с. 115]. Автор полагает, что это слово, «вероятно, восходит к тат. источнику: *битӓр* 'укор, упрек' и *битӓрлӓй* 'упрекать, упрекнуть, корить, укорять' при чув. *витер* 'пронимать, воздействовать', диал. 'продевать'» [1, с. 115].

Чувашское происхождение марийского *витара-аш* ~ *витӓр-еш* сомнений не вызывает, поскольку состав чув. *витер* прозрачен: *вит-* 'проникать, врезываться, промочить, просачиваться; пронимать' ~ др.-тюрк. *öt-* 'проходить' (сквозь, через, мимо чего-либо) + афф. побудительного

залога -ер: *шыва витеререх сап* 'лей воду так, чтобы земля пропиталась', *сомър ветрек витэрчѣ* 'дождь промочил насквозь'; в переносном смысле: *сăмахпа витер* 'прошибать словами', *ку сынсене никам сăмаххите витерес сук* 'ничем не проймешь этих людей' [7, т. V, с. 255—256].

(6) **Видынче** 'ангел', **веднезе** В 'помощник ангела', **видньезе** 'помощник керемета, которому в жертву приносят зайца или утку, *витнизе*: *пианбар витнизе* 'божество' (*пианбар* 'пророк'), *витнизе* 'доносчик', *витнь-ызые* 'название духов низшего порядка (доставляющий просьбу обращающихся к нему по назначению)'. Общемар. **витнизые*. Заимств. из булг. (др.-чув.) яз.: чув. *витѣнчѣ* 'проситель' [1, с. 101, 105]. Чуть ниже автор указывает еще на два варианта: *витньызе* 'помощник ангела, керемети, доносчик богу' и *витньызе* 'сподвижник' [1, с. 116].

Приведенные варианты марийского слова указывают не только на его древнеязыческий, но и заимствованный всеми диалектами и говорами характер. Однако правильное в сущности утверждение автора, что слово это образовалось от чувашского глагола *витѣн* 'усиленно просить, упрашивать, умолять; надеяться', др.-тюрк., уйг., кирг. *ötün* с тем же значением (далее все, как у В. Г. Егорова [10, с. 56], но без ссылки на него. — М. Ф.), сочетается с приведением несуществующего в современном чувашском языке слова **витѣнчѣ* 'проситель'. В татарском языке, например, есть слово *үтенүче* 'просящий, проситель', генетически связанное с древнетюркским *ötünč* 'просьба' (Тон 15) <*ötün* 'обращаться, просить' (ДТС, с. 393), однако наличие протезы *в-* и словообразовательного афф. *-з'е* требуют приведения реконструированной чувашской формы **витѣнй-сѣ* (-зв-).

Н. И. Ашмарин по поводу обсуждаемого марийского слова писал: «Черемисское *витнезе* — слово заимствованное: оно происходит от чувашского глагола *витѣн* 'упрашивать, умолять', обычно в формуле: *сана асăнатпър, витѣнетпър* 'тебя мы призываем и тебя умоляем'. Надо думать, что это был общеупотребительный термин для выражения просьбы, обращаемой к должностному лицу, подобно каз.-тат. *үтен* 'просить' или уйгур. *ötün* 'просить, представить просьбу старшему, доложить, говорить, обратиться к старшему'. Этот самый глагол, вместе с произведенным от него им. сущ. *ötül* 'просьба', употреблен напр[имер] в ярлыке Тимур-Кутлуга и, как видно, был обычным термином в прошениях, подававшихся на имя хана: он же встречается и в манихейско-уйгурских молитвах, что отмечено А. Н. Самойловичем («Несколько поправок к ярлыку Тимур-Кутлуга». — «Известия Российской Академии наук», VI серия, 15 июня 1918, № 11. — М. Ф.). По объяснению о. Яковлева (Гаврил Яковлев. «Религиозные обряды черемис». Издание Православного Миссионерского Общества, Казань, 1887. — М. Ф.), *витнезе* — служебный дух, исполняющий веления своего бога, или приносящий ему людские просьбы. В сонме богов это самый младший, и ему приносятся самые дешевые жертвы» [11, с. 18—19].

(7) **Волык** I Л, В, Г. СЗ 'скот, скотина' <общемар. **волик*. Заимств. из чувашского языка в булгарскую эпоху: чув. *вильăх* 'скот, скотина', в свою очередь восходит к др.-русск. источнику: *Велес* — языческий бог; он считался покровителем скотоводства и вообще хозяйства у восточных славян [1, с. 137].

Автор приводит обширную фразеологию с участием компонента *вольык*, в том числе *вольык чырлык* 'скот' <тат. *терлек* 'скот, скотина' [1, с. 138], но не учитывает действительную исходную форму: чув. *вильăх-чёрлѣх* (~тат. *терлек* ~др.-тюрк. *tirig* 'живой', *tiriglik* 'жизнь') 'домашние животные и птицы' (= русск. *живность*).

Обособленное положение чув. *выльӑх* по отношению к лексике других тюркских языков привело к возникновению различных точек зрения о его происхождении. Н. И. Ашмарин, указывая на образование сильно палатализованного чувашского *л'* (орфографически *ль*) «от влияния на л предшествующего ему звука *й*», в числе других приводит также интересное нас слово: «*выльӑх* 'домашний скот' вм[есто] *вайльӑх* от *вай* 'сила', соб[ственно] 'то, что может доставить силу'» [5, с. 52, § 23]. Эта этимология принята В. Г. Егоровым [10, с. 38].

До сих пор считалось, что чув. *вай* по происхождению марийское слово, поскольку существуют надежные финно-угорские соответствия [3, с. 198; 1, с. 99, 103]. Но тем не менее не следует оставлять без внимания соображение Г. Рамштеда в следующей формуле: **uju* (герундий от др.-тюрк. *u*- 'мочь') или **ujuu könnend* > *вай* 'сила, мощь' [13, § 25, с. 19].

М. Ряснянен чув. *вайӑ* 'сила' этимологизирует в том же ключе: **uj*: др.-тюрк., уйг., ср.-тюрк. *u*- 'мочь', кирг. *u-bas-sāp* 'ты не можешь', як. *uj*- 'нести, выносить, быть в силах, терпеть', чув. *-j-* форма возможности глаголов; чув. *вай-йӑ* 'сила' (<**uj-u*) [9, с. 510]. Чувашское происхождение мар. *вольык*, думается, сомнений не вызывает. Другое дело, когда Ф. И. Гордеев чув. *выльӑх* возводит к названию славянского бога *Велес*. Н. А. Баскаков, например, предполагает обратное: «*Велес* и *Волос*, как известно, являются названием „скотьего бога“, покровителя скота и, вероятно всего, связаны с основной, обозначающей скот, а следовательно, могут восходить к той же древнебулгарской основе, сохранившейся в чувашском языке в виде основы *выльӑх* 'скот, скотина; скотский, скотный' + булгарско-чувашский аффикс *-çä/-çĕ...*, образующий имя действующего лица и название профессии от имен существительных *выльӑх-çä* 'скотовод, скотник' > в русской адаптации *Велес ~ Волос* 'скотий бог'» [14, с. 18].

(8) **Вуйсӑрӑ** Г 'безотчетно, очертя голову'. Выделяются два компонента: *вуй* 'голова' и *сӑрӑ*, которое самостоятельно ныне не употребляется. Оно, возможно, восходит к чув. источнику, ср. чув. *сӑр*, *сӑра* — «название старинного женского украшения» [1, с. 162].

С этим объяснением едва ли можно согласиться. Если вторым компонентом является имя существительное *сар/сарӑ* (приходится сожалеть, что в словаре Ф. И. Гордеева многие чувашские слова неверно орфографируются), то в целом мар. *вуйсӑрӑ* должен быть аналогом изафетных словосложений типа *вуймут* (*вуй* 'голова' + *мут* 'слово') 'заголовок', *вуйокса* (*вуй* 'голова' + *окса* (<чув. *окса*) 'деньги') 'подушная подать' и т. д. Но здесь, во всяком случае, *-сӑрӑ* представляет собой словообразовательный афф. от именных основ. Нами уже было высказано предположение, что *-сӑрӑ* в горномарийском *вуйсӑрӑ* является ранним следом тюркского языкового влияния, иначе говоря, это древнетюркский афф. *-сыра/-сире*, сохранившийся в ряде современных тюркских языков, в том числе и в западных: тат. *кәлемсерә* — 'улыбаться, улыбнуться', башк. *канһыра* — 'истекать кровью' и т. д. [14, 1970, № 3, с. 65].

(9) **Вуйстык** I Г, **вустык** Л, В 'упрямый, непослушный', 'вниз головой' [1, с. 162].

Автор правильно подметил, что данное слово «весьма трудно отделить от чув. *пустах* 'головорез, буян, озорник, шалун; бесшабашный; сорвиголова; проказник'» [7, т. X, с. 38], однако, приводя в качестве генетического соответствия др.-тюрк. *гүстах* 'дерзкий', повторил ошибку автора чувашского этимологического словаря [10, с. 169]. Дело в том, что др.-тюрк. *küstaх* 'дерзкий' (ДТС, с. 329) образовано от корня *küç* 'сила', а посему не соответствует общетюркскому *баш* ~ чув. *поç/пуç* 'го-

лова': тат. (диал.) *баштак* 'озорной, шаловливый, самовольный' ~ чув. *по̄стах/пӯстах*. Остальные горномарийские формы находят надежные соответствия в чувашском: *вуйстык-ла* <чув. *по̄стах-ла/пӯстах-ла* 'упрямо; упрямый', *вуйстык-лан-аш* <чув. *по̄стахлан-/пӯстахлан* 'озорничать, нахальничать; буяннить, скандалить'. (У Ф. И. Гордеева ошибочно: чув. *пӯстӑхлан* (Ашм., X, с. 38) вместо правильного *пӯстахлан* [7, т. X, с. 39]).

(10) Вуйшовыч Л. В, вуйсавыц Г 'головной платок'. Образовано сочетанием лексем *вуй* 'голова' и *шовыч (савыц)* 'платок' [1, с. 164].

Следует добавить также горномарийский вариант с начальным *ш*: *шавыц* [2]. Автор оставил без внимания второй компонент *шовыч/шавыц/савыц*, не этимологизировав его, хотя и существует на этот счет высказывание М. Рясанена [15, с. 210]. Мы, однако, предлагаем другое объяснение, подкрепляемое родственными тюркскими сближениями: чув. *си* 'верх, поверхность' + *по̄с/пӯс* 'голова' > 'внешность, наружность, внешний облик, одежда' [7, т. XII, с. 143—144] ~ тат. *өс-баш*, башк. *өс-баш* 'одежда; комплект одежды', азерб. *үст-баш* 'одевание, одежда', туркм. *үст-баш* 'одежда, платье' (<*өс/өс/үст* 'верх, верхняя часть (стол, трона) чего-либо'). Марийская производная форма *шовычлык* 'платочный, предназначенный для платка' восходит также к чув. *шпо̄с-лӑх* (~ общетюрк. *-лык*) 'предназначенный для одежды, наряда' [6, с. 120].

(11) Вурс II — один из компонентов военного термина *эреву́рс* 'булат (старинная сталь для клинков)', в котором *эре* соотносится с *ире* СЗ, *ирса* Г 'чистый, однородный' с восстанавливаемой для них праформой (общем.) **эресӑ*. Слово восходит к булг. (др.-чув.) источнику, состоящему из двух морфем: 1. Булг. (др.-чув.) **хэрэ* при чув. *хир* 'нива, поле; степь', чаг. *кырыг* 'пустыня'... [1, с. 173]. В конце словарной статьи указан источник этих сведений: ЭСЧЯ 301, то есть [10, с. 301].

Таким образом, получается, во-первых, что восстанавливаемая др.-чув. форма **хэрэ* принадлежит В. Г. Егорову, чего на самом деле нет. Во-вторых, чувашское происхождение марГ. *ире*, марЛ. *эре* 'чистый' не вызывает сомнения: чув. *ыра̄* <др.-тюрк. *агӱ* 'чистый, незагрязненный; чисто; нравственно безупречный, благородный'; рел. 'чистый, истинный, неложный, правдивый, священный, святой' (ДТС, с. 51—52), что полностью соответствует русским значениям чув. *ыра̄*, данным Н. И. Ашмариным [7, т. III, с. 58—64].

Для сближения чувашской и марийской форм в фонетическом отношении нет препятствий, сравним другой пример: чув. *ыра* (<*ыр* 'пазить' + словообр. афф. *-а*) > марГ. *иря*, марЛ. *эра* 'паз' при тат., башк. *ырмау* 'пазить; паз'.

Если же для чув. *хир* искать праформу, то ею наверняка будет **кӱр*, то есть реально существующее древнетюркское *q̄r* 'плоскогорье' (ДТС, с. 445). Поэтому соображение автора, что «булг. **хэрэса* в свое время употреблялось со значением „пустыня“, развившимся впоследствии в семантику „чистый“, в каком смысле и сохранилось в мар. яз.» [1, с. 174], не убеждает.

(12) Вурт III Л, В, вырт Г образн. сл. 'быстро, в один миг'. «Вероятно, происходит от мар. *вур*—*вур* I, образованного с помощью суф. *-т*» [1, с. 175].

Автор в качестве паронима приводит чув. *парт* — подраж. сл. — о быстром повороте (без указания источника). В чувашском есть слово *парт*, оно обозначает «подражание звуку, который получается при ломании хрупкого предмета»; «подражание моментальному повороту», «подражание моментальному взлету с шумом». Отсюда: *партак* 'хрупкий',

партаклан — ‘стать хрупким, ломким’ [7, т. IX, с. 113—114]. Слово *парт* имеет абсолютный синоним *варт* ‘подражание быстрому повороту’ [7, т. V, с. 177], но тем не менее остается неясным, почему автор в данной словарной статье не воспользовался чувашским генетическим соответствием *варт* ‘подражание мгновенному и отрывистому движению’ и дублетом *варт—варт* ‘подражание неодинаковым и отрывистым движениям’ [7, т. V, с. 327].

Думается, что чувашское *варт* восходит к понудительной форме на -т от глагола *вәр* — ‘бросать, ронять; кидать; бить’. Н. И. Ашмарин писал, что «этот глагол, по-видимому, является исконно чувашским и соответствует осм. *вур*-, каз.-тат. *ор*-» [7, т. V, с. 310; 10, с. 48—49]. От чув. *вәр* — имеется несколько производных форм, в том числе *вәр-кӑн* — ‘стремительно нестись (лететь)’ > мар. *варкынаш* ‘напрягаться, напрыгаться; натужиться’ [6, с. 77]. Поэтому замечание Ф. И. Гордеева, сделанное в рядом стоящей словарной статье *вурт-варт* Г, что «небезынтересно сопоставление с чув. *варт-варт*» [1, с. 175], не только желательно, но и обязательно, поскольку марийские варианты *вурт* Л, В, *вырт* Г, *вурт-варт* Г связаны между собой общим происхождением.

(13) **Вуру:** *тангаж вуру* ‘морской шум’, каждый из этих слов, по всей вероятности, восходит к булг. (др.-чув.) источнику: 1. *вуру* сопоставляем с чув. *вӑрӑ: шыв вӑрӑ* ‘устье реки’... 2. *тангаж, тангыж* Г, *тенгыз* Л, В ‘море’ <общемар. **тангеж* <булг. **тӑнгес*, чув. *тинӗс*, др.-уйг. *тӑниз* ‘море’ [1, с. 176].

Об этой словарной статье следует, во-первых, сказать, что в чувашском имеется форма не *шыв вӑрӑ*, а *шыв вӑрри* ‘устье реки’, ср. *Сӗнтӑр-вӑрри* ‘Маринский посад’ (Чувашск. АССР), но досл. устье (реки) Сундыря; во-вторых, в древнечувашском море называлось не **тӑнгес*, а скорее всего **тенгир*, о чем говорит венг. *teng̃er* (1152, 1211) <**tӑngir*, ср. уйг. *tӑngiz*, каз. (= тат.) *diӗez* ‘море’ [8, с. 128—129, 155, 169, 178]. В. Г. Егоров сравнивает это слово с эвенк. *тӑнгер*, но не приводит его значения. Речь, по-видимому, идет об эвенкийском *туңар*, эвен. *тӑңар* ‘озеро’ [16, т. II, с. 217]. Во всяком случае современное чувашское слово, обозначающее «море», имеет не собственную, а татарскую форму: тат. *диңгез* > чув. *тинӗс*.

(14) **Вусаш** ‘испаряться, испариться’. Возможно, заимствование из булг. (др.-чув.) яз.: чув. *пушӑ, пуш* ‘пустой, порожний; свободный, незапаятый, досужий’ [1, с. 176].

Если исходить из значения глагола, то основа (корень) слова должна обозначать «пар». В этом случае мар. *вус* восходит к чув. *пӑс*, от которого ведут свое происхождение также мар. *пыш*, мар. *пуш* ‘пар, пары, испарения’. Следовательно, мар. *вусаш* ‘испаряться, испариться’ ведет свое происхождение не от чув. *пуш(ӑ)*, а от чув. *пӑс* ‘пар, испарение’. У В. Г. Егорова в числе правильных генетических соответствий из других тюркских языков (*бус/пус/боç* ‘пар, испарение’) приводится не относящееся сюда тат. *бӑс* ‘иней’ [10, с. 150], что полностью совпадает с чув. *пӑс* ‘иней, изморозь’. Надежные тюркские соответствия см. у В. В. Радлова [17, т. IV, с. 1384; 6, с. 101].

(15) **Вӑдлу** В ‘таз, тазовые кости’. Состоит из *вӑд* ‘вода’ и *лу* ‘кость’ [1, с. 185]. Наше объяснение, что мар. *вӑдлу* восходит к чувашскому *вӑча* (вӗче) *шӑмми* ‘бедренная кость’, автор считает «совершенно ошибочным». (Здесь у него описка: вместо *вӑча/вӑче* следовало писать *вӑча/вӗче*). Нами, однако, приведена и горномарийская форма: *выца* и *выцалу* (<*выца+лу*) ‘бок, кости таза, нижняя часть туловища’, не вызывающую сомнения в своем чувашском происхождении [6, с. 77. Ф. И. Гордеев указывает с. 59].

Автору предстоит объяснить, почему первым компонентом выступает не «таз, крестец, ягодица, бедро», а *вўд* 'вода', тогда как в тюркских языках в качестве анатомического термина закономерно употребляется *вйча/вёче* 'бедро; подвздошная кость' ~ др.-тюрк. *и́са* 'крестец', тат. *оча* 'ягодица': *оча сөяге* 'таз, тазовая кость'.

(16) *Вўд агытан* Л 'стрекоза', букв. 'водяной петух' [1, с. 183].

Автор происхождения второго компонента *агытан* (марГ. *а́птан*) 'петух' не проясняет, то есть не указывает на чув. *автан* (<*авйт*~ др.-тюрк. *et*- 'петь'+ словообр. афф. *-ан*), тат. *этэч* 'петух'. Чередование *γ~β* в марийских диалектах широко распространено, ср. чув. *авяр* > мар. *агур/авур/авёр* 'омут' и др.

(17) *Вўдона* В 'подставка для посуды с водой'. Собственно марийское слово, образованное словосложением *вўд* 'вода' и *она* 'доска; тес' [1, с. 186].

Автором происхождения второго компонента *она* в словаре не выясняется, тогда как им является чув. *х́ама* > марЛ. *онга*, марГ. *ханга* 'доска' при ком. *каңа* 'доска' [17, т. II, с. 81], балк. *каңа* 'доска' [10, с. 291].

(18) *Вўдом, вўдон, вюд он* 'круг в воде, образующийся при ее возмущении', *вўдон, вудон* 'волна на воде'. Слово образовано путем контаминации лексем *вўд* 'вода' и *ом* (*он, онг, онго, вом*) 'волна', праформа для последних... **вомво* < **комво* < домар. **компо* [1, с. 186].

Этимология данного слова рассматривается без каких-либо праформ. Ф. И. Гордеев подбирает слова со значением «волна» в финно-угорских и тюркских языках, тогда как речь идет о марийском слове *онго* 'петля, круг', равнозначном чувашскому *онкă/ункă* 'кольцо, круг, петля' ~ каз. *унгы* 'отверстие, куда вставляется ручка (топорище); коловорот'; кирг. *унгу* 'обух; та часть железки (наконечника копья), куда вставляется древко' [10, с. 274; 6, с. 160], монг. *онги, унги* 'дыра, отверстие' [9, с. 514 б], х.-монг. *онги* 'проушина, ушко'. Мы сами первоначально, вслед за Н. И. Золотницким, ошибочно сближали чув. *хом/хум* 'волна' с мар. *вўд-ом* 'волна' [6, с. 144].

Что касается вполне естественного семантического сдвига «круг в воде, образующийся при ее возмущении» > «волна на воде», то он произошёл на почве марийского языка.

(19) *Вўдсыр* 'безводный'. Образовано с помощью каритивной формы *-сыр* от *вўд* 'вода' [1, с. 187—188]. Хотелось бы отметить, что это чувашский каритивный афф. *-сър*: *шывсър/шусър* 'безводный', но тат., башк. и др. *сусыз/сувсыз* 'безводный'.

(20) *Вўдшор* I Л, В, *вўтшөр* В, *вёдшор* Г 'половодье, разлив' [1, с. 191].

Этимология, данная автором, ясностью и доказательностью не отличается, но первый компонент действительно означает «вода». Относительно второго компонента *шор* мы, вслед за З. Гомбоцом и М. Рясненем, считаем, что он чувашского происхождения: чув. *шор/шур* 'болото, болотистая земля, болотистый луг', в отличие от общетюркского *саз* 'болото'. Ротацирующая форма вошла также в венгерский язык: др.-чув. **шар* > венг. *sár* (ш́ар) [8, с. 113; 9, с. 406 б; 6, с. 155]. Мар. *вўдшор*, как и чув. *шыв-шур/шыв-шу*, означает «половодье, распутица».

(21) *Вўдшор* II Л, В — композит в составе хрононима: *вўдшор тылзе* 'апрель' [1, с. 191]. Данное слово генетически связано с *вўдшор* I, ибо апрель является месяцем распутиц и половодья. Второй компонент — чувашского происхождения.

(22) *Вўран* Л, В, СЗ, *вёран* Г 'толстая веревка' <общемар. **вўран*.

Займств. из булг. (др.-чув.) яз.: чув. *вёрен* 'веревка': АФТ. *уркен*, теф. XII—XIII вв. *урук* 'веревка'... [1, с. 195].

Автор тюркские формы почерпнул из этимологического словаря В. Г. Егорова [10, с. 52], однако без ссылок на источник. В древнетюркском есть слово *игик* 'веревка, канат', тел., алт., шор., саг., кайб., качин. *урук* 'шест с петлею для ловли лошадей' [17, т. I, с. 1658—1659]. Исходя из тунгусо-маньчжурских, монгольских форм, М. Рясянен для них приводит праформу *(h)iguk [9, с. 5166]. Но это слово к чув. *вёрен*, от которого образовались мар. *вўран/вёран*, никак не относится. Прямое отношение к чувашскому и марийским его вариантам имеет древнетюркское слово с передней огласовкой *örgān* (<ög- 'вязать, плести') 'канат, толстая веревка' (ДТС, 388) ~ аз. *өркан* 'широкая конская привязь' и др.

(23) *Вўрланаш* Л, В, *вёрланаш* Г 'обливаться кровью'. Собственно марийское, образовано с помощью суф. *-лан(аш)* от *вўр* (*вёр*) 'кровь' [1, с. 198].

Все правильно, однако следует иметь в виду, что афф. *-лан* тюркский: чув. *юнлан-* (<юн 'кровь') ~ тат. *канлан-* (<кан 'кровь') 'кровавиться, окровавиться' и т. д.

(24) *Вётийӓ* СЗ (в народной мифологии) 'водяной, русалка' [1, с. 200].

Второй компонент оставлен без объяснения. Он восходит к чув. *ийе/ийе* 'название духов' (каждый предмет в самом широком понимании, по представлениям чувашей-язычников, имел своего собственного хозяина (духа) — *ийе/ийе*. — М. Ф.), 'злой дух' ~ др.-тюрк. *idi/idi* 'хозяин, владелец; обладатель' (ДТС, 203), тат. *ия* 'хозяин, владелец (огня, воды и пр.)' [10, с. 67; 9, с. 169]. Мар. *вётийӓ* — полукалька чув. *шивийи* 'водяной'.

(25) *Вырт* Г, *вырт* Л 'вмиг, мгновенно, отрывисто'. Происхождение неясно. Можно было бы сопоставить с чув. *вӓрт...* при *пёртик* 'чуть-чуть, немного, крошечку' [1, с. 213].

Чувашское происхождение мар. *вырт* сомнений не вызывает. Однако чув. *пёртик/пӓртак* сближению не подлежит, поскольку оно совсем другого происхождения: чув. *пёр* ~ др.-тюрк. *bir* 'один' + чув. *татак*: ~ ~, аз. *дидик*: ~ ~, тур. *didik*: ~ ~ 'разорванный, изодранный, общипанный, оборванный, истерзанный на куски' (<чув. *тат-* (<**tāt-*) ~ аз. *дид-мек*, тур. *dit-mek* 'щипать, отщипать, отрывать мелкими кусками'.

(26) *Вырыс* В 'косяк дверной, оконный'. Происхождение неясно [1, с. 214].

Автор «под вопросом» сопоставляет с удм. *вырос* 'манера', *мугор* *вырос* 'осанка; выходка'. Однако здесь речь идет о русск. *брус* (прямоугольного сечения), который идет также на изготовление дверных (оконных) косяков > чув. *пӓрӓс* ~ тат. *борыс/бырыс* > мар. *вырыс*.

(27) *Выца* Г 'бок, кости таза, нижняя часть туловища' < др.-мар. **вакса*. «Сопоставляем с нен. *вӓк* 'край'. Возможно, индоиранское наследие эпохи ф/у-ской общности» [1, с. 216].

На наш взгляд, скорее можно было бы привести в качестве надежного сближения чув. *вӓча/вёче* 'бедро; подвздошная кость', нежели др.-инд[ийское] *ракша*, осет. *фахс* 'бок, сторона; откос горы' и другие формы. См. (15).

(28) *Выцалу* Г 'бок, кости таза, нижняя часть туловища'. Образовано сложением лексем *выца* и *лу* 'кость' [1, с. 216].

Полукалька чув. *вӓча шӓмми/вёче шӓмми/вӓча шӓни* 'бедренная кость'. См. (15).

(29) Вёцäш Г 'дужка (грудная косточка птиц)'... Состоит из *выца* 'бок, кости таза, нижняя часть туловища' в уменьш.-ласк. форме с суф. -äй+-аш(-äш): *выца*+*-äй*+*-аш*>*вёцäш* [1, с. 216].

Если это не описка в словаре, то здесь выступает вариант марГ. *йыдäс*, марЛ. *ятас* 'дужка (грудная косточка птиц)', что соответствует чув. *йётес* 'дужка': *йётес турт*— 'держат пари' (букв. 'ломать дужку'), тат. *ядäч сөяге* 'дужка'; тур. *ядыс ядес* 'особого рода пари' [17, т. III, с. 212], тур. *yades/lâdes* '(застольное) пари' (при котором ломают дужку — грудную кость птицы) («Турецко-русский словарь», М., 1977, с. 903, 583). Слово *йётес* заимствовано из персидского: *йад* 'память'+*äст* 'есть, имеется' [10, с. 80—81].

(30) Вышт I Л, В 'быстро, живо, моментально, в одно мгновение'.

Вероятно, восходит к тат. источнику, ср. тат. *вышт* и чув. *вäшт* при тат. *важ* 'вон!', чув. *вäш* 'тотчас, живо, проворно'. Однако затруднения возникают в связи с возможным ф/у-ским суф. -т [1, с. 219].

Нам остается добавить, что чув. *вäшт* 'подражание мгновенному и оборотному шуму воздуха; подражание быстрому движению' [7, т. V, с. 343] представляет собой побудительную форму на -т от *вäш*: *вäш турё* 'пробежал мигом'. См. (12).

(31) Вадыж I Г, СЗ, водыж Л, В — (в народной мифологии) назв. нижнего божества <общем. **вадыж*~**вадаж* [1, с. 8, 127].

Ф. И. Гордеев, «ставя под сомнение предположение о собственно чувашском (булгарском) происхождении чув. *вутäш* и мар. **вадаш*», истоки марийского слова стремится найти в индоиранском или иранском наследии финно-угорской языковой общности и посему считает, что чув. *вутäш* проникло из марийского языка.

Видимая сложность объяснения генезиса чув. *вутäш/вотäш* возникает потому, что это слово имеет три основных значения: 1. злой дух, рангом ниже *вупär/вонär* (-б-); 2. божество (злое, водяное); 3. дух огня.

По словам Н. И. Ашмарина, Н. И. Ильминский считал это слово сложным: *вут*+*йыш*, то есть 'дух огня'¹. Чувашское слово *вутäш/вотäш* действительно очень прозрачно: *вут/вот*~др.-тюрк. *öt, ot* 'огонь'+*йыш* (<*й-иш*)~др.-тюрк. *её* 'друг, приятель, сподвижник', тат. *иш* 'чета, пара, ровня; товарищ, друг'. Монгольская форма говорит о том же: *od-qan* 'Feuergottheit', то есть «божество (дух) огня» [9, с. 366 б].

Чув. *вутäш* по своему значению соответствует мар. *тул-ава*, морд. *тол-ава* 'божество (дух) огня', букв. 'огонь—мать'>'мать огня'. Если бы чувашское слово со значением 'божество, обитающее в воде'>'водяной' исходило из марийского языка, то оно имело бы переднеязычную огласовку: **вётёш* или **вўтёш* (мар. *вёт/вўт/вўд* 'вода'). Эту закономерность показывают чув. СЗ *вётел*<марГ. *вётельё/вўтеле* 'кулик'; чув. *вётёжге* [7, т. V, с. 385]<мар. *вёдёжгаш* 'сыреть'.

Первоначально этот мифический термин, общий для чувашского и марийского языков, обозначал 'дух огня', затем стал обозначением злых духов вообще. Это видно из чувашского термина *шыв вутäшё* [7, т. V, с. 286]=*шыв вäтäш* 'название божества шестого разряда' [7, т. XVII, с. 178], где *вутäш/вотäш* (заднерядная огласовка!) никак не связан с мар. *вўд/вўт/вёт* 'вода', поскольку первый компонент изафета *шыв* обозначает воду. При этом самым сильным аргументом является мар. *вўд водыж* Л, В. 'название низшего божества' [1, с. 184] или, по другим

¹ См.: «Переписка о чувашских изданиях переводческой комиссии», Казань, 1890, с. 50 [7, т. II, с. 285—286].

источникам, *вӱд водыж* (= *вӱд ия*) 'водяной' (мифич.), точно соответствующий чув. *шыв вутӑшӗ/шыв вӑтӑш*. Для обозначения «водяного» в чувашском, как и в других тюркских языках, существует другой термин: *шыв/шу амӑшӗ* ~ тат. *су анасы* (< *шыв/шу* ~ *су* 'вода' + *амӑ-шӗ* ~ *ана-сы* 'ее мать').

Наконец, о мнении М. Рясненна. Он между чув. *вотӑш/вутӑш* и мар. *водыж/водыш/вадыж* ставил знак равенства, но писал, что, если первоначальным значением этого слова был «дух огня», тогда оно чувашского происхождения. Татарское *бутыш* нельзя объяснить иначе, как заимствование из черемисского или чувашского языков [15, с. 274].

ЛИТЕРАТУРА

1. Ф. И. Гордеев. Этимологический словарь марийского языка. Том 2. В.—Д. Йошкар-Ола, 1983.
2. G. J. Ramstedt. Bergtscheremissische Sprachstudien. Helsingfors, 1902.
3. М. Р. Федотов. Чувашский язык в семье алтайских языков. II. Чебоксары, 1983.
4. Г. И. Рамstedt. Введение в алтайское языкознание. Морфология. М., 1957.
5. Н. И. Ашмарин. Материалы для исследования чувашского языка. Ч. I—II. Казань, 1898.
6. М. Р. Федотов. Исторические связи чувашского языка с языками угро-финнов Поволжья и Перми. Ч. I. Чувашско-марийские связи. Чебоксары, 1965.
7. Н. И. Ашмарин. Словарь чувашского языка. I—XVII. Казань—Чебоксары, 1928—1950.
8. Zoltán Gombocz. Die bulgarisch-türkischen Lehnwörter in der ungarischen Sprache. Helsinki, 1912.
9. Martti Räsänen. Versuch eines etymologischen Wörterbuchs der Türksprachen. Helsinki, 1969.
10. В. Г. Егоров. Этимологический словарь чувашского языка. Чебоксары, 1964.
11. Н. И. Ашмарин. Отголоски золотордынской старины в народных верованиях чуваш. Казань, 1921 (Отдельный оттиск из II тома «Известий Северо-Восточного Археологического и Этнографического Института»).
12. G. J. Ramstedt. Einführung in die altaische Sprachwissenschaft. I. Lautlehre. Helsinki, 1957.
13. G. J. Ramstedt. Zur Frage nach der Stellung des Tschuvassischen. — JSF Ou XXXVIII.
14. Н. А. Баскаков. О тюркских лексических заимствованиях в русском языке. — «Советская тюркология», 1983, № 4.
15. Martti Räsänen. Die tschuwassischen Lehnwörter im Tscheremissischen. Helsinki, 1920.
16. «Сравнительный словарь тунгусо-маньчжурских языков», т. I—II. Ленинград, 1975—1977.
17. В. В. Радлов. Опыт словаря тюркских наречий. I—IV. СПб., 1893—1911.

ВОПРОСЫ ФОЛЬКЛОРИСТИКИ

А. М. АДЖИЕВ

КУМЫКСКИЕ СВАДЕБНО-ОБРЯДОВЫЕ ЗАГАДКИ «КИРИТЛЕМЕЛЕР»

Как отмечают исследователи фольклора, наиболее древние истоки народных загадок связаны с мифами этих народов и их ритуалами. Такого мнения придерживаются фольклористы, принадлежащие к самым различным направлениям и прежде всего к мифологической школе. При всех заблуждениях представителей этой школы их вывод о древних истоках загадок, представляющих, очевидно, общетипологическое явление, вполне правомерен, так же как и утверждение, что с разрушением мифологических представлений смысл загадок, ранее ясный для всех, затемняется, и они становятся достоянием служителей культа¹. «Загадка в древности служила культу, — писал Ю. М. Соколов, — являясь раскрытием религиозной тайны или одной из форм передачи религиозных представлений — мифов. Это можно видеть хотя бы в легендах о сфинксе, в сообщениях о роли загадок в практике оракулов»².

Происхождение загадок исследователи прежде всего связывают с бытовыми и производственными запретами — табу, регламентировавшими жизнь и деятельность древнего человека. Первобытный охотник полагал, что, называя зверей, оружие, место охоты условными названиями, он сможет скрыть свои намерения и это ему обеспечит удачную охоту; к тому же табу было связано со страхом вызвать гнев духов зверей, лесов и пр. Подобное отношение к табу, распространенное среди множества народов, носит общетипологический характер.

В связи с введением в научный обиход обширного материала загадок (в особенности народов СССР) стало очевидным, что эти загадки образуют синкретическое единство с наиболее архаичными жанрами фольклора, то есть это та почва, на которой возникли загадки как самостоятельный жанр. Сказанное относится, в частности, к обрядовой поэзии и ритуалам. О типологическом характере этого явления свидетельствуют данные фольклора многих народов мира, в том числе не имевших между собою ни генетического родства, ни взаимных контактов.

Особенно тесно загадки самых различных народов связаны со свадебно-обрядовой поэзией. В русской и советской фольклористике давно

¹ Ф. И. Буслаев. Исторические очерки русской народной словесности и искусства. Т. I. СПб., 1861, стр. 129; А. Н. Афанасьев. Поэтические воззрения славян на природу. — «Опыт сравнительного изучения славянских преданий и верований в связи с мифологическими сказаниями других родственных народов», т. I. М., 1865, стр. 22—24; О. Ф. Миллер. Опыт исторического обозрения русской словесности с хрестоматиею, расположенною по эпохам. Ч. I, вып. 1, изд. 2-е, СПб., 1865, стр. 61.

² Ю. М. Соколов. Русский фольклор. М., 1938, стр. 217.

было обращено внимание на роль загадок в свадебном обряде³. В карельском свадебном обряде загадка в ее современном понимании не встречается, но Н. А. Лавонен весьма справедливо полагает, что она «могла в древности быть составной частью свадебного обряда»⁴. Много данных о связях загадок со свадебными обрядами у тюркских народов⁵, в том числе и у кумыков.

Так, у южных кумыков бытовали «киритлемелер» — обрядовые состязания между *абай*⁶ или подругами невесты, с одной стороны, и женихом или дружкой жениха — с другой, а также между невестой и женихом. «Кириллемелер»⁷ — по сути дела обрядовые загадки-песни, по-видимому, восходящие к ритуалу свадебной инициации. До недавнего времени у кумыков существовали обычаи, которые могут быть связаны с инициацией: на свадьбе было принято обращаться к традиционным эротическим формулам, шуткам в адрес абай; невеста не должна была говорить с родственниками жениха даже после свадьбы, а в отношении свёкра этот запрет мог длиться несколько месяцев и даже лет. После свадьбы друзья жениха испытывали умение молодой жены вести хозяйство, ее выдержку, порою весьма сурово: ее могли попросить, например, подать уголек, чтобы прикурить. Достойной высокой похвалы считалась та невестка, которая подавала этот уголек... пальцами⁸.

С эволюцией инициального ритуала стало уделяться внимание не только физическим данным жениха, но и его умственно-психологическим способностям. Сметливость, смекалка, находчивость охотника и воина должны были сочетаться с его умением побеждать в поэтических состязаниях. Владение словом, способность к импровизации становятся показателями достоинств жениха.

Приведем примеры такого обрядового состязания жениха и невесты:

Гелин:

— Айлана-айлана отбашдан.
Акъ тастар тюшдю башдан.
Уста бусанг, билерсен:
Тон тик гъали сен ташдан!

Невеста:

— Кружась, кружась вокруг камина,
Уронила с головы белый платок.
Если ты мастер, сумей
Шубу сшить из камня!

³ «Великорусс в своих песнях, обрядах, обычаях, верованиях, сказках, легендах и т. п. Материалы, собранные и приведенные в порядок П. В. Шейном», т. I, вып. II, СПб., 1900, стр. 655; И. Дикарѳ. О царских загадках. — «Этнографическое обозрение», 1896, № 4, стр. 15; А. К. Мореева. Традиционные формулы в приговорах свадебных дружек. — В кн.: «Художественный фольклор». Т. II—III, М., 1927, стр. 121; В. П. Аникин. Русские народные пословицы, поговорки, загадки и детский фольклор. М., 1957, стр. 65—66.

⁴ Н. А. Лавонен. Карельская народная загадка. Л., 1977, стр. 16.

⁵ Т. Абдыракунов. Киргизские народные загадки. Автореф. канд. дисс. Фрунзе, 1973, стр. 21; К. Укачина. Связь алтайских загадок с другими жанрами фольклора. — В кн.: «Всесоюзная тюркологическая конференция. Тюркоязычные литературы — история и современный процесс». Тезисы докладов и сообщений. Алма-Ата, стр. 119 и др.

⁶ Абай — наставница невесты, обычно жена старшего брата жениха (ср. *енге*, *дженге*). Слово это в обряде, очевидно, имеет значения «руководительница», «блюстительница чести невесты», «наставница».

⁷ Кириллемелер — от слова *кирит* 'замок', то есть слова, как бы «замкнутые», имеющие скрытый смысл, требующие разгадки.

⁸ Последний обычай был распространен у северных, засулакских, кумыков, а также среди ногайцев, табасаранцев и некоторых других народов.

Гиев:

— Айлана-айлана отбашдан,
Акъ папах тюздю башдан.
Тюбек ташдан йип этсенг,
Мен тигермен тон ташдан!

Жених:

— Кружась, кружась вокруг камина,
Уронил с головы белую папаху.
Если спрядешь нити из кремня,
Я сошью шубу из камня⁹.

Поэтическое состязание носило часто и коллективный характер, возможно, в этом отразились наиболее древние традиции арханческого амебейного хора.

Гелин ва къуда къызлар:

— Йыланн авзу ув болур,
Есси ёкъ мал дув болур.
Етти денгизни ичинде
Нече акъчалыкъ сув болур?

Невеста и подруги:

— Пасть змеи бывает ядовита,
Скот без хозяина дичает.
В пучине семи морей
Сколько кувшинов воды бывает¹.

Гиев ва гиев нёгерлер:

— Салам йибердим хангъа,
Хан алмаса—агъагъа.
Гысабын мен этермен,
Ташып чыгъар ягъагъа.

Жених и дружки:

— Я послал приветствие хану,
Если хан не примет — то аге.
Я сумею подсчитать,
Только ты вынеси на берег (воду)¹.

Гелин ва къуда къызлар:

— Баркаман, алагъ тала,
Гюн бола, гече бола.
Сагъ сылама тарини
Бюртюю нече бола?

Невеста и подруги:

— Боже, мой аллах,
Приходит день, приходит ночь.
Проса полный сах¹⁰,
Сколько там зерен?¹

Гиев ва гиев нёгерлер:

— Эндирейли, салалы,
Дерметли, деркчалалы,
Биз ону не билейик —
Тавукъ билсин балалы.

Жених и дружки:

— Эндиреец, салатавец,
Дербентец, деркалинец¹¹,
Откуда нам это знать,
Спросите лучше у наседки¹².

Загадки загадывались не только в песенной форме. Одна невеста, например, загадала загадку: «Человек имеет, но нет ему названия» (Адамда бар, аты ёкъ). Отгадка — «безымянный палец». Жених не мог отгадать ее в течение семи месяцев и все это время не имел права на фактический брак¹³, что свидетельствует о силе обычаев, так же как и следующий пример: кумык женился на персиянке, которая по кумыкскому обычаю загадала ему такую загадку:

— Чуткъум — кызылбыш чуткъу,
Бавлары керханадан.

— Чуткъу¹⁴ мое — кызылбашское.
Повязки (ленты) ее из керханы¹⁵.

Жених не мог разгадать эту загадку и ему посоветовали обратиться к старому жнецу, работавшему в это время на своем участке. Тот

⁹ «Къумукъ халкъ чечеген ёмакълары» («Кумыкские народные загадки»). Составитель У. Бейбулатова. Махачкала, 1982, стр. 162. Эта загадка в прозаической форме входит в одну из кумыкских сказок.

¹⁰ Сах — единица измерения сыпучих тел.

¹¹ Жители соответствующих населенных пунктов Дагестана.

¹² «Къумукълары йыр хазнасы» («Сокровищница песен кумыков»). Составители А. Аджаматов и Ш. Альбериев. Махачкала, 1959, стр. 140.

¹³ С. Ш. Гаджиева. Брак и свадебные обряды кумыков в XIX—начале XX века. — В сб.: «Ученые записки Института истории, языка и литературы Дагестанского филиала АН СССР», т. VI, Махачкала, 1959, стр. 165.

¹⁴ Чуткъу или чохто — женская головная повязка в виде мешочка.

¹⁵ Керхана — род шелковой ткани.

согласился помочь, если парень сожнет и обмолотит его хлеб. Жених выполнил всю необходимую работу. Тогда жнец разгадал загадку:

— *Ашавум акуле дюю,
Ичивюм бузханадан.*

— *Ем я только рис акуле,
Пью воду на льду'.*

Невеста, считающая себя богатой представительницей знатного рода, спрашивала жениха, достоин ли он ее руки. Жених таким образом отвечал, что и он не уступает ей в богатстве, ибо ест только такое изысканное блюдо, как плов, а пьет особую остуженную воду¹⁶.

Невеста в свою очередь также должна была решить ряд задач, предложенных женихом¹⁷.

Анализ некоторых свадебных загадок свидетельствует о том, что они создавались заблаговременно задолго до свадьбы, как «заготовки». Это подтверждается, например, такими строфами:

Гелин:

— *Бу гечелер гечедир,
Бармакѣда ѳрмекчедир.
Отуз алты байталны
Налы-мыхы нечедир?*

Невеста:

— *Эти ночи, ночи,
(А) на пальце — кольцо,
На тридцати шести кобылах
Сколько подков и гвоздей?*

Гиев:

— *Кѳойчуланы кѳойлары
Кѳозласын эгиз-эгиз.
Отуз алты байталны
Налы-мыхы минг сегиз.*

Жених:

— *Овцы пастухов
Пусть окотятся двойняшками.
На тридцати шести кобылах
Подков и гвоздей тысяча восемь'.*

Трудно предположить, что такой точный ответ мог последовать без предварительного подсчета.

Отдельные из песен-состязаний, сопровождавшие древние ритуальные действия, абстрагировавшись от них, впоследствии стали самостоятельными песнями. Такова, например, песня-такмак «В черном (темном) лесу...»¹⁸, представляющая собой широко распространенный жанр диалого-спора, который А. Н. Веселовским с привлечением множества параллелей описывается следующим образом: «Общее положение такое: молодец предлагает девушке свою любовь, она отнекивается: лучше я стану тем-то, изменю образ, лишь бы не принадлежать тебе. Парень отвечает ей пожеланием себе встречной метаморфозы, которая опять поставит его в уровень с превращенной милой: если она станет рыбкой, он — рыбаком, она птицей — он охотником, она зайцем — он собакой, она цветком — он косарем. Эта фантастическая игра в желания развивается разнообразно с разными окончаниями. В румынской песне спорят таким образом кук — парень и горлица — девушка: она обратится в хлеб в печи, он в кочергу, она в тростинку, он сделает из нее свирель, будет петь-играть, будет ее целовать; она станет иконою в церкви, он причетником, будет ей кланяться, чествовать, приговаривая: святой образок, стань пташкой, чтоб нам любиться, чтоб нам миловаться, под облаками при солнце, в прохладной тени листьев, при звездах и луне, навеки — вместе!»¹⁹.

Аналогичная картина раскрывается и в кумыкском такмаке.

¹⁶ С. Ш. Гаджиева. Указ. раб., стр. 265.

¹⁷ Там же, стр. 266.

¹⁸ «Кѳумукъланы йыр хазнасы», стр. 187—188.

¹⁹ А. Н. Веселовский. Историческая поэтика, Л., 1940, стр. 366—367.

Девушка спрашивает, что сделает парень, если она станет грабом и вроснет в землю? Парень не теряется и отвечает: он станет топором и срубит дерево — что она тогда сделает? Если парень, став топором, срубит дерево, она станет плужным лемехом и войдет в землю — тогда что он сделает? Если девушка станет лемехом, парень превратится в восемь волов и вытащит его — что тогда сделает девушка?

Далее следует длинная цепь превращений парня и девушки, где первый — сила наступающая, полонящая, вторая — спасающаяся, укрывающаяся, в духе символики свадебного фольклора: девушка станет сизой голубкой, парень — черным соколом и настигнет ее; девушка станет меркой проса, рассыплется по земле, парень — насадкой с цыплятами и соберет все зерно; если девушка заболит — парень станет лекарем и вылечит ее; если девушка скончается, то парень и тогда не оставит ее — станет белым саваном и окутает ее. В одном из вариантов спор-диалог идет еще дальше: девушка, уже почти «настигнутая», спрашивает, что сделает парень, если она станет могильной доской и прикроет его, ставшего саваном? Парень и здесь выходит победителем — он станет сырой землей и засыпет ее, ставшую могильной доской. Как видим, спор-диалог заходит так далеко, что и смерть не может спасти девушку от парня.

Истоки кумыкского такмака, несомненно, в свадебно-обрядовой поэзии. «В пору господства брака через увоз жених представляется в чертах насильника, похитителя, добывающего невесту мечом, осадой города, либо охотником, хищной птицей...»²⁰.

Интересно, что слово *олжа*, имеющее во многих других тюркских языках значение «добыча»²¹, в кумыкском употребляется в значении «жена», причем в старинной кумыкской песне об Абдулле есть строка «женщин и девушек берут в олжа», то есть здесь это слово, очевидно, сохраняет свой первоначальный смысл — «добыча», «пленница».

Данный кумыкский такмак имеет множество аналогий с фольклорными памятниками народов, родственных кумыкам по происхождению или живущих с ними по соседству (карачаевцы, азербайджанцы, туркмены, ногайцы, табасаранцы, лакцы, адыги и др.)²².

Возможно, что такмакам-загадкам родствен и тюркский *туйук* — об этом свидетельствуют как особенности их поэтических форм, так и этимология терминов, обозначающих их. *Туйуки* — четверостишия, со схемой рифмовки *ааба*. Причем эти четверостишия состоят из двух бейтов (двустий). В туйуках употребляются каламбуры²³. Все это характерно и для такмаков, мани, баяты и т. д.²⁴.

«Из современных наречий оно (слово *туйук*. — А. А.) распространено, судя по словарю Радлова, преимущественно среди сибирских турков в форме „туйук“ и со значениями: „запертый, со всех сторон огражденный, тайный...“ В телеутском говоре, по Радлову, есть выражение

²⁰ А. Н. Веселовский. Указ. раб., стр. 147.

²¹ Э. В. Севортян. Этимологический словарь тюркских языков, М., 1974, стр. 446—447.
²² «Къарачай халкъ джырла» («Карачаевские народные песни»). М., 1969, стр. 107—109; «Антология азербайджанской поэзии». М., 1960, стр. 158—160; «Туркменские народные песни», Ашхабад, 1961, стр. 63—64; «Песни народов Дагестана». Л., 1970, стр. 457—459.

²³ П. М. Мелиоранский. Отрывки из дивана Ахмеда Бурхан-эд-Дина Сивасского. — «Восточные заметки», СПб., 1895, стр. 135.

²⁴ Об этом см. также: Х. Г. Короглы. Трансформация жанра туйук (к проблеме фольклорных связей тюркоязычных и ираноязычных народов). — В кн.: «Типология и взаимосвязи фольклора народов СССР. Поэтика и стилистика». М., 1980, стр. 192—207.

„туйук соз” — слово, смысл которого не прямо выражен, но скрывается под известным подобием»²⁵.

Очевидно, к свадебно-обрядовой поэзии восходят традиции состязаний ашугов с загадыванием загадок, распространенных у народов Южного Дагестана — лезгин, табасаранцев²⁶ и др.

Таким образом, кумыкские свадебно-обрядовые песни-загадки «критлемелер» восходят к глубокой древности, имеют широкие типологические параллели, однако это не исключает возможности генетических и контактных поэтических связей с фольклором народов, близких кумыкам по происхождению или имевших с кумыками историко-культурные связи.

²⁵ Л. Самойлович. Четверостишия — туйуги Неваи. — «Мусульманский мир», М., 1917, стр. 8.

²⁶ «Песни народов Дагестана», стр. 246—262, 323.

О Н О М А С Т И К А

Н. А. БАСКАКОВ

ИМЕНА СОБСТВЕННЫЕ ГУННОВ, БУЛГАР, ХАЗАРОВ, САБИРОВ И АВАРОВ В ИСТОРИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКАХ

В исторических источниках различного происхождения зафиксированы некоторые собственные имена, главным образом мужские, принадлежащие вождям родоплеменных объединений древних тюркских народностей Восточной Европы, на языках которых, кроме болгарского и отчасти хазарского, не сохранилось каких-либо даже кратких текстов. О характере этих языков можно, таким образом, судить только по собственным именам, упоминающимся в преданиях, и свидетельствам других народностей, сформировавшихся в более поздние эпохи.

От языка гуннов (хунну) сохранилась лишь одна фраза с китайским переводом, свидетельствующая о том, что гунны, или по крайней мере часть их, представляли собой тюркские племена и роды, и язык их был близок по характеру болгарскому. Упомянутая фраза впервые стала известна в литературе по публикации А. Ремюза [34] в его транскрипции: sieouitchi tili-kang роу-коу khiu tho tang с китайским переводом, соответствующим русскому «войско выйдет пугу будет взят». Позже, в 1872 году, эта же фраза в таком же переводе была опубликована В. П. Васильевым [6] в русской транскрипции: *сючжу тилэйгянь, пугу тогоуданъ*. В дальнейшем данная фраза в транскрипции: siôg tiëg t'iei lied kâng b'uok kuk g'iu t'uk tâng с переводом на немецкий язык «Heer herausführen Heerführer ergreifen» — была приведена К. Ширатори [35]; в транскрипции sükä talîqîn bügük tutun с переводом: «zich aus zum Krieg und fange den Bügü» — Г. Рамстедтом [32]; в транскрипции: süg tägti idqan boquiy tutqan с переводом 'envoyez l'armée offensivement, capturez le commandant' — Л. Базеном [32] и в транскрипции särig tilitqan buyu kötürkän с переводом 'du wirst das Heer herausführen du wirst den Hirsch entführen' — А. ф. Габен [32].

Что же касается сабиров (~суваров) и аваров, то кроме собственных имен никакие другие свидетельства о их языке науке неизвестны.

Ниже нами приводятся извлеченные из различных источников собственные имена гуннов, болгар, хазаров, сабиров (суваров) и аваров в сохранившихся транскрипциях с указанием на источник и с соответствующими этимологиями, принадлежащими различным авторам, а также с нашими новыми этимологиями и предположениями. Последние предлагаются нами главным образом в тех случаях, когда этимологии для того или иного собственного имени отсутствуют.

А в и т о х о л [33] — мужское собственное имя у болгар:

1) <венг. avat-ni 'освещать', avatas 'освещение' + венг. Hold 'луна'
> собственное имя;

2) <чув. *xävät* 'сила, сильный' + *xul* 'рука'.

Акум [1, с. 81] — мужское собственное имя у гуннов и сабиров:

1) <аху~ау 'щедрый' [8, с. 48, 171] + -т — аффикс принадлежности первого лица > аху-т~ау-т 'мой щедрый' > собственное имя;

2) <ög~ök 'разум, мысль, мудрый' [8, с. 378, 382] + -üt — аффикс принадлежности первого лица, либо аффикс диминутива > ök-üt 'мой мудрый' > собственное имя.

Алп-тархан [23] — мужское собственное имя у хазар:

1) >alp 'герой' + tarhan — титул (см. Тархан) > собственное имя [23].

Асперух~Есперих~Исперих [33] — имя болгарского хана, сына Кубрата (см.):

1) <Ešberüh~Esberüh <eš~es 'товарищ, друг' + böri~büri 'волк' > eš böri 'товарищ волк', как аналогия к eš kam 'товарищ шаман' или ata kam 'отец шаман' [22];

2) <ašpaka <asp~ašpa 'всадник' + kauka 'светлый' > ašpaka~ašpaka 'всадник светлый' [37];

3) <ispar~aspara 'всадник' [8];

4) <eš berdi <eš 'друг товарищ' + berdi '(бог) дал' > eš berdi '(бог) дал друга' [3];

5) <ispäri~äspäri~isbäri 'вид сокола' [15, II, ст. 1536] + -x — уменьшительный аффикс > äspäri-x 'соколик' [29];

6) <санскр. *yšvara~yšvara* — титул, должность [7, с. 220] + окончание — rug [27];

7) <es~eš 'добыча, богатство, довольство' [12, I, с. 79; II, 17; 7, с. 164, 183] + berik~bergü~perik~perix 'дар, дарование' > es perix 'дар-довольство, дар-богатство' > собственное имя.

Астархан~Растархан [1, с. 244] — имя хазарского кагана, торговавшего в 764 году в Закавказье:

1) <as 'яс, аллан, осетин' + tarhan — титул > собственное имя; As—tarhan [20];

2) <as~jas название тюркского рода (<армянск. Raš~Araš~Arš~Araš~Ars) + tarhan титул > As—tarhan > собственное имя; ср. русск. «Астрахань» [23, с. 151].

Атакам [26] — мужское собственное имя гуннов:

1) <ata 'отец' + kam 'шаман' > ata-kam 'отец шаман' [22];

2) <ata 'отец' + -qaj~qa — частица звательной формы + -т — аффикс принадлежности первого лица > ata-qaj-т~ata-ka-т атакам 'отец мой, батюшка'.

Аттила [1, с. 55] — имя гуннского князя:

1) <германск., готск. *atta* 'отец', *attila* 'батюшка' [26; 28].

Байан [14] — имя болгарского хана, мужское собственное имя у болгар:

1) <bajan 'богатый' [11];

2) <baj алт. 'запрещенный, священный, волшебный'; ср. *baj sös* 'запретное слово', *baj quš* 'священная птица~сова, филин'; *baj apa* 'женское божество', *paiana* якутск. 'бог, божество', *bajan* 'священный' > имя собственное [4];

Барджиль [14, с. 37] — имя сына хазарского кагана:

1) <bars džyl <bars~bar 'барс, тигр' + džyl 'год' > bars džyl 'год барса, рожденный в год барса' > имя собственное;

2) <bars il(k) <bars 'барс, тигр' + ilk — титул (см. Илик) > bars il(k) 'барс-князь' > имя собственное; ср. *bars-bek* 'барс бек' — имя собственное [7, с. 64; 19].

Басих ~ Васих (Арт., 54) — мужское собственное имя у гуннов:

1) *bas-* 'давить, ступать, угнетать, господствовать' + *-sux* — аффикс имени действующего лица > *bas-sux* 'тот, кто господствует' [7, с. 663].

Батбай ~ Бат-байан [14, с. 21] — сын Кубрата — кагана болгар:

1) <*bota ~ botu* 'верблюжонок, дитя, любезный' [7, с. 115] + *baj* 'богатый, щедрый' [7, с. 79] > *bota baj* > имя собственное.

Башту ~ Баштва [23] — мужское собственное имя у хазар:

1) <*baš töve ~ baš teve* <*baš* 'голова, главный, передовой' + *töve ~ teve* 'верблюд' > *baš töve* 'передовой, идущий впереди верблюд' [9; 23, с. 160].

Безмер [33] — болгарское мужское имя собственное:

1) <*bez-* 'дрожать, трепетать, трусить'; ср. *qoŋq- ~ bez-* 'опасаться, бояться' [7, с. 459] + *-teg* — аффикс причастия отрицательной формы > *bez-teg* 'небоящийся, неопасающийся, храбрый' > имя собственное.

Берихос ~ Боарикс [14, с. 17] — имя вдовы гуннского князя Болаха, правительница гуннов сабиров:

1) <*berik ~ bergi* 'дар, давание, подарок' + греческое окончание *-os ~ -us* > собственное имя.

Биттогур [1, с. 62] — мужское собственное имя у гуннов:

1) <остяцк. *pitti* 'черный' + *oŋur* > *pitti oŋur* 'черный огур' [1, с. 62], возможно также по цветной символике 'северный огур';

2) <*biti* 'его вид, его образ' + *oŋur* 'огур, название племени' > *biti oŋur ~ oŋur bit* 'похожий на огур, огурообразный' > собственное имя.

Блуджан ~ Булджан ~ Булуджан ~ Блжан [38] — имя хазарского военачальника:

1) <*bylčan* — название растения [5, I, с. 304] > собственное имя;

2) <*buludžu* 'открыватель' [16, с. 134] <*bul-* 'находить, открывать, изобретать' + *-udžu* — аффикс имени действующего лица + адаптирующий аффикс *-an* > *buludž (u) an* 'открыватель' > собственное имя.

Болах ~ Блах ~ Балах [14] — имя князя сабиров, а также мужское собственное имя у болгар:

1) <*bolax ~ bolaq* 'лошадь с широким крупом' [12, I, с. 379]; ср. турецк. *malaq* 'буйвол' > имя собственное;

2) <*böläk* 'дар, подарок' [7, с. 117] > имя собственное;

3) <*bulaq* — название тюркского племени [12, I, с. 379; 7, с. 122] > имя собственное.

Буйук [14] — имя хазарского кагана:

1) <*büyük* 'высокий, великий' > имя собственное.

Булан ~ Булган [1, с. 269; 14, с. 8, 33, 60]:

1) <*bulan* 'лось' [12, I, с. 413] ~ чув. *pälan* 'лось' [18] > имя собственное [ср. 23, с. 170].

Винех [33] — мужское имя собственное у болгар:

1) <чув. *ēpēk ~ vēpēk* 'озаренный, опаленный солнцем, вечерняя заря' > собственное имя.

Гостоун ~ Гостун ~ Гостунь [33] — мужское собственное имя у болгар:

1) <чув. *äs—tän* 'ум, разум' [18, с. 49] > имя собственное.

Денгизих ~ Денгизех [1, с. 61] — имя младшего сына Аттилы, мужское собственное имя у гуннов:

1) <*teniz* 'море' + *-ik* — аффикс уменьшительной формы > *teniz-ik ~ teniz jeli* 'морской ветер' [30; 254];

2) <*tiŋ qyzyq* 'вспыльчивый, буйный' [36];

3) <чув. *tāpāç* 'спокойный, мирный, тихий' + *-āk* — аффикс уменьши-

тельной формы >tāpāç-āk 'спокойный, мирный'; ср. чув. tāpāçlā 'тихий, мирный' [18].

Илдуган [14] — мужское собственное имя у хазар:

1) <il(k) 'князь', букв. 'первый, главный' + duγan 'родившийся' >il(k) duγan 'первенец, родившийся первым'.

Илигер [33] — мужское собственное имя у болгар и сабиров:

1) <ilig 'князь', букв. 'первый, главный' + eg 'муж, мужчина' > собственное имя.

Илирик ~ *Иллирик* [1, с. 81] — мужское собственное имя у гуннов и сабиров:

1) <il(k) 'князь', букв. 'первый, главный' + erik 'быстрый, стремительный' [7, с. 169, 177] >il erik > имя собственное.

Ирник ~ *Ирнек* ~ *Хернек* ~ *Эрнек* ~ *Эрнах* ~ *Эрник* [29; 21, с. 162] — имя сына Атиллы, мужское собственное имя у болгар и гуннов:

1) <erneк ~ ernäk ~ erñäk 'палец' [12, I, с. 117; 7, с. 181] > имя собственное;

2) <чув. jēr (ě) nēk <jērēn 'пренебрегать' + ěk — аффикс, образующий результат действия >jērēn-ěk 'то, чем пренебрегают' > охранительное имя собственное.

Исбул [33] — имя болгарского хана:

1) <eš ~ es ~ iš ~ is 'друг, сподвижник' [7, с. 184, 213] + bul 'будь' >is bul 'будь другом, сподвижником' — имя собственное.

Ичиргу-бойла [33] — имя болгарского хана:

1) <ičrāgi 'внутренний' [7, с. 202] + bojla — титул >ičrāgi bojla 'внутренний бойла', возможно, что в этом имени сохранился только титул хана.

Яабгу-хан ~ *Жабагу* [33] — имя болгарского хана:

1) <jabyu — титул верховного правителя [7, с. 222] ~ jabyu ~ žabyu 'советник' [10] + han >jabyu han, так же как и в предыдущем имени болгарского хана сохранился только титул.

Конулсиз <könülsiz — мужское собственное имя у болгар и сабиров:

1) <könülsiz 'бесчувственный, грубый' [7, с. 316] <könül 'сердце, желание, расположение, чувство' [7, с. 315] + -siz — аффикс отрицания >könül-siz 'бесчувственный, грубый' — имя собственное.

Кормишо ~ *Кормисош* [33] — имя болгарского хана:

1) <qoγ ~ qig- 'устанавливать, сооружать, строить' [7, с. 467] + -myš — аффикс имени действующего лица + греческое окончание -os >qoγ-myš-os ~ qig-myš-os 'тот, кто сооружает, строит, строитель' > собственное имя.

Котрига ~ *Котрага* [1, с. 110, 167] — имя сына болгарского хана Кубрата:

1) <hotur oγur <hotur ~ otuz 'тридцать' + oγur название племени огузов >hotur oγur 'тридцать огузов' — имя собственное. Возможно, что в источниках смешивается собственное имя с названием рода, подвластного данному лицу.

Крека ~ *Эрка* ~ *Häärkä* ~ *Herkijä* ~ *Häräkä* [26, с. 286] — имя жены гуннского правителя Атиллы:

1) <Herkijä ~ Erka <arika <тюркск. arıγ qan 'die rejne Fürstin' [29; 39];

2) <ärkä 'любимица' [40], татарск. irkä, чувашск. хёркке — ласковое обращение 'милая, любимая' [17, с. 12];

3) <kögüka 'красота, красивый облик' [7, с. 317] > 'красавица' > имя собственное.

Кубрат~Хубрат~Худбард~Коурт~Коурот [1, с. 169; 14, с. 24; 33] — имя болгарского хана, отца Асперуха, Батбая, Котрага:

1) <qurt 'волк' <эвфемизм qurt 'червяк', через первоначальную форму *qiwurt [22; 29; 33];

2) <qut 'счастье' + berdi 'он дал' > qut berdi > собственное имя [2];

3) <qobrat-~qubrat- 'собирать, объединять' > qobrat повелительная форма 'собери, объедини (народ)' [29].

Куридах [1, с. 55] — мужское собственное имя у гуннов:

1) <иранск. [26, с. 286];

2) <köümdik~köümlük 'приятный' [7, с. 319] > имя собственное;

3) <kögidäk 'то, что нравится' > красивый' имя собственное.

Курсих [1, с. 54] — мужское имя собственное у гуннов:

1) <kög-~kür- 'видеть' + -sik/-six — аффикс причастия долженствовательной формы [7, с. 663] > kög~kür + six 'тот, кто должен видеть' > 'тот, кто должен жить' > имя собственное.

Омуртаг~Оумор~Умор [33] — имя болгарского хана (814—831):

1) <чувашск. ämärt 'орел' + -ау — аффикс уменьшительной, ласкательной формы > ämärt-ау 'орел, орленок' > имя собственное.

Орган~Орхан [1, с. 161] — имя дяди болгарского хана Кубрата:

1) <оуиг — название рода огуров + хап > оуиг хап > имя собственное по названию рода.

Парсбит~Барсбек [1, с. 217] — имя матери кагана, бабушки Барджия:

1) <pars 'тигр' + bek 'бек, господин' > имя собственное [23, с. 205];

2) <pars~bars 'тигр, барс' + bit 'лицо, вид' > pars bit [7, с. 103] 'лицо, вид барса' собственное имя.

Севар~Севзар [33] — имя болгарского хана:

1) <saw 'черный' + äg~eg~ig 'мужчина, человек' > saw äg 'черный человек' > имя собственное [10];

2) <чувашск., болгарск. sävär 'сурок, байбак' [18] > имя собственное.

Совинех [33] — имя болгарского хана:

1) <sovup~sowup 'олень' + -ақ, -äk — аффикс ласкательной формы > sovupaқ~sowupaх 'оленок' — имя собственное.

Субут~С-буыт [1, с. 249] — имя дочери хазарского кагана:

1) <sebüt~sevit астр. 'Венера' [7, с. 494, 498] > имя собственное;

2) <sev-it <sev- 'любить' + -it — аффикс имени действия > sev-it 'любовь' > имя собственное;

3) <subyt- 'удлинять, вытягивать, расти' [7, с. 512], повелительная форма 'расти' > имя собственное.

Тармач [1, с. 211] — мужское имя собственное и название титула у хазар:

1) <tärim <tärim 'мой бог' + -аč > terim-ač > имя собственное [31];

2) tarmač <talmač~tolmač 'переводчик' [23];

3) <tarim 'потомок Афросиаба' [12, I, с. 394] + -аč — аффикс ласкательной формы > tarim-ač > имя собственное;

4) <toğum 'верблюжонок' [7, с. 548] + -аč — аффикс ласкательной, уменьшительной формы > toğum-ač 'верблюжонок' — имя собственное;

5) <tagum — титул, присоединяющийся к имени женщин или детей хана [7, с. 587] + -аč — аффикс уменьшительной формы.

Текин~Тегин [1, с. 62] — имя хазарского кагана:

1) <tegin 'принц' — титул, присоединяющийся к именам младших членов ханской семьи. В данном случае источники смешивают титул с собственным именем.

Тектем [33] — мужское собственное имя у болгар:

1) <болгарск. toxtom 'девьяностый'.

Телес~Телец~Толес~Телец [16, с. 258] — мужское собственное имя у болгар:

1) <töles~teles — название рода, ср. алтайск. teles отсюда название Телецкого озера на Алтае, ср. tölis [7, с. 579]>имя собственное по названию племени;

2) <töläč 'плата, возмещение, награда' [7, с. 579]>имя собственное, ср. töläš [7, с. 579].

Тевирем~Твирем~Товирем~Тзвиремь [33] — мужское собственное имя у болгар:

1) <болгарск. tviret 'двадцать'>имя собственное по имени числительному;

2) <tegir~tevir~tuvur- 'поворачивать, вращать' [7, с. 557, 593]+im — аффикс результата действия >tegir-im~tevir-im~tuvur-im~tegirmä 'круглый, сферический' [12, 1, с. 490; 7, с. 548]>*Тевирем* 'круглый>полный'>имя собственное.

Тервел~Тарвел~Тервель~Тервень [1, с. 197] — мужское собственное имя у болгар, имя хана дунайских болгар [33]:

1) <törü~törä 'обычай, закон, правило' [7, с. 580, 581] + el 'племенной союз'>törü el 'власть'; ср. el tögü 'власть' [7, с. 169]>собственное имя;

2) <чуваши. tērev 'опора, подпорка' [18, с. 420] + el 'рука'>tērev el 'опора-рука'>имя собственное;

3) <чуваши. tērevle 'подпирай, будь опорой' [18, с. 420] — имя собственное;

4) <чуваши. tērev 'опора, подпорка' + -le чувашский аффикс подобия>tērev-le 'подобный опоре'>имя собственное, или -lē — аффикс обладания >tērev-lē 'имеющий опору'>имя собственное;

5) <terbi; terbi el имя собственное; ср. terbi unal имя собственное [7, с. 553].

Тиранис [1, с. 71] — мужское собственное имя у сабиров и гуннов:

1) <чуваши. tären- 'опираться'~tirän- 'опираться, противиться' [7, с. 562] +es чувашск. — аффикс имени действующего лица>tären-es 'опирающийся, противящийся' — имя собственное. В последнем значении этимология аналогична этнонимам: болгар, авар, савир, чакар и проч.

Хазар-тархан [23] — имя хазарского военачальника:

1) <хазар. 'хазар' +tarḫan — титул>имя собственное [23]. Вероятно, с нарицательным значением — хазарский тархан.

Ханука~Ханукка [14, с. 8, 64] — имя хазарского кагана:

1) <qanuy~qanuy 'радость, удовлетворение' + -qa — аффикс уменьшительной формы [7, с. 418]>qanuy-qa 'радость'>имя собственное;

2) <qonuy 'гость' [7, с. 456]+ -qa — аффикс уменьшительной формы >qonuy-qa 'гость'>имя собственное. Возможно, что *Ханукка* является женским собственным именем и относится не к хазарскому кагану, а к его жене.

Хатир [33] — мужское собственное имя у болгар:

1) <qatuy~xatuy 'мул, метис'>собственное имя.

Хоногур [1, с. 76] — мужское имя собственное у гуннов и сабиров:

1) <hon oγur<hon~on 'десять'+oγur 'огур' — название гуннского рода>hon oγur 'десять огуров'>собственное имя по названию племени.

Чакар [33] — название болгарского рода и собственное мужское имя:

1) <šaq- 'сеять вражду'+-ag — аффикс имени действующего лица>šaq-ag 'сеющий вражду'.

Читар-хазар~Чатгасар~Чатын-хазар [23, с. 173] — имя гуннского князя:

1) <чувашск. čatārka~čatārka 'вспыльчивый'+hazar 'хазар'>čatār(ka) hazar 'вспыльчивый хазар'>собственное имя; ср. караимск aiaṇ-gasar.

Чичек [23, с. 175] — имя дочери хазарского кагана, жены византийского императора Льва IV (775—780), по прозвищу Хазар, сына византийского императора Константина IV Соргопутис, который был также женат на хазарке:

1) <čiček 'цветок' имя собственное [23, с. 175].

Чорбан-тархан~Чорпан-тархан [19] — мужское собственное имя у хазар:

1) <čolpan 'вечерняя звезда, Венера', турецк. čolpon~čolbon~čolpan [5, I, с. 459]>имя собственное [23].

Чул~Чулы [23]>имя хазарского кагана:

1) <čur — титул>имя собственное;

2) <čawly 'сокол' [7, с. 142]>имя собственное;

3) <čawluq 'прославленный, знаменитый' [7, с. 142]>имя собственное.

Эллак [1, с. 61] — имя сына гуннского правителя Аттилы:

1) <ilk 'начальник, глава' [29];

2) <чувашск. äñlä(k) 'понятливый, способный'; ср. añlay 'разумный' [7, с. 47]>имя собственное.

Эрекан [26] — мужское имя собственное у гуннов:

1) <erik 'сила, воля, власть' [7, с. 179]+añ 'разум', erik-añ 'власть, разум'>имя собственное;

2) <irkin титул [7, с. 212]>имя собственное.

Кроме перечисленных выше имен собственных, встречающихся в различных источниках, П. Голден в своем последнем исследовании о хазарах [23] приводит еще несколько хазарских собственных имен, в том числе: Ibuzer Gliaban (182—183), Xatirlitbēr<*Qadir il tābār (197—198), K. sa (199), Kundajik (202—204), Papatzys<Babajiq (204—205), Salifan (209—209), *Jazir-Bulaš (217—218), Zibel (218—219), а также название племени Ansa (219—220), значения которых не проясняет.

ЛИТЕРАТУРА

1. М. И. Артамонов. История хазар. Л., 1962.
2. Н. И. Ашмарин. Болгары и чувашский язык. Казань, 1902.
3. Н. И. Ашмарин. Болгары и чуваша на Волге. — «Известия Общества археологии, истории и этнографии при Казанском университете», т. XVIII, Казань, 1908.
4. Н. А. Баскиков. Мифологические и эпические имена собственные в «Слове о полку Игореве». — «Восточная филология», т. III, Тбилиси, 1973.
5. Л. З. Будагов. Сравнительный словарь турецко-татарских наречий, т. I—II, СПб., 1869—1871.
6. В. П. Васильев. Об отношении китайского языка к среднеазиатским. — «Журнал Министерства народного просвещения», 1872, сентябрь.
7. «Древнетюркский словарь», Л., 1969.

8. И. Дуйчев. Илия Асперух в новооткрытых надписях Грузии. — «Archiv Orientalni», XXI, 1953.
9. А. П. Ковалевский. Путешествие Ибн-Фадлана на Волгу. М.—Л., 1939.
10. П. К. Коковцов. Еврейско-хазарская переписка в X в. Л., 1932.
11. Ф. Е. Корш. Турецкие элементы в языке «Слова о полку Игореве». — «Известия Отделения русского языка и словесности», т. VIII, кн. 4, СПб., 1903.
12. Махмуд Қошғарий. Девону луғот-ит-түрк, т. I—III. Тошкент, 1960—1963.
13. К. Г. Менгес. Восточные элементы в «Слове о полку Игореве». Л., 1979.
14. С. А. Плетнева. Хазары. М., 1976.
15. В. В. Радлов. Опыт словаря тюркских наречий. Т. I—IV, СПб., 1893—1911.
16. «Турецко-русский словарь», М., 1975.
17. М. Р. Федотов. Чувашский язык в семье алтайских языков. Чебоксары, 1980.
18. «Чувашско-русский словарь», М., 1961.
19. W. Barthold, P. B. Golden. Khazar. — «Encyclopaedia of Islam», IV, 1965.
20. K. Czeglédy. Khazar Raids in Transcaucasia in A. D. Acta Orientalia XI, Budapest, 1960.
21. K. Dąbrowski. Nagrodzka-Majchrzyk T. Tryjarski E. Hunowie, europejscy, protobulgarcy, chazarowie, pieczyngowie. Wrocław—Warszawa—Kraków—Gdańsk, 1975.
22. G. Fehér. Die Petschenegen und die ungarischen Hunnensagen. Budapest, 1962.
23. Peter B. Golden. Khazar Studies. I—II, Budapest, 1980.
24. L. Katona. Omurtag. Körösi Csoma Archivum, 2. Budapest, 1926, 1930.
25. L. Ligeti. Sur deux mots comans. Acta Antiqua, X, F, 1—3, Budapest, 1962.
26. O. Maenchen-Helfen. The language of the Huns. — «Труды 25 Международного конгресса востоковедов», т. III, М., 1963.
27. J. Marquart. Die nichtslawischen (altbulgarischen) Ausdrücke in der bulgarischen Fürstenliste. T-oung-Pao, Ser. II, 1910.
28. K. H. Menges. Bulgarische Substratfragen. — «Ural-Altaische Jahrbücher», XXXII, 1960.
29. J. Németh. Die Herkunft der Namen Kobrat und Esperüch. Körösi Csoma Archivum, II, F. 6, Budapest, 1932.
30. J. Németh. A hunok nyelve in Attila és hunjai. Budapest, 1940.
31. P. Pelliot. Tängrim > tärim. T-oung-Pao, XXXVI—XXXVII, Leiden, 1944.
32. «Philologiae Turcicae Fundamenta», Wiesbaden, 1959.
33. O. Pritsak. Die bulgarische Fürstenliste. Wiesbaden, 1955.
34. Ab. Rémusat. Nouveaux melanges asiatiques. T. 2, Paris, 1929.
35. K. Shiratori. Über die Sprache der Hsiung-nu und der Tung-hu Stämme. — «Bulletin de l'Académie des Sciences», St. Petersburg, 17, N. 2, 1902 (Sept.).
36. H. Vámbéry. A magyarok eredete. Budapest, 1882.
37. А. А. Куник. О родстве хагано-болгар с чувашами по славяно-болгарскому имени. — «Записки Императорской Академии Наук», 1879, т. 32, в. 2.
38. V. F. Minorsky. A History of Sharvān and Darband. Cambridge, 1958.
39. J. Benzing. Das Hunnische. — «Philologiae Turcicae Fundamenta», I, Wiesbaden, 1959.
40. Martti Räsänen. Versuch eines etymologischen Wörterbuch der Türk Sprachen. Helsinki, 1969.

ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

В. У. МАХПИРОВ

СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ АНТРОПОНИМИЧЕСКИХ ФОРМАНТОВ В ТЮРКСКИХ ЯЗЫКАХ

(НА МАТЕРИАЛЕ УЙГУРСКОЙ АНТРОПОНИМИИ)

Тюркская антропонимия достигла в последние годы значительных успехов. Однако объектом исследования в данной области тюркского языкознания большей частью является официально принятая система личных имен, а фактам живого разговорного языка не уделяется должного внимания¹.

В общенародной речи уйгуров, как, по-видимому, и у других народов, широкое распространение получили вербальные средства и формы употребления личных имен в соответствующих ситуациях. Эти формы представляют собой различные образования, выражающие семантические оттенки почтительности, уменьшительности-ласкательности, пренебрежения и т. п.

В «Диване» Махмуда Кашгари приводятся личные имена, которые, по мнению автора, представляют собой усеченные ласкательные формы от полных имен: например, в имени *Begäč arslan tegin* компонент *begäč*, употребляющийся, как пишет Махмуд Кашгари, с «мягким» *g*, представляет собой уменьшительную форму от слова *beg* [МК, I, с. 339]², имя *Süli* — усеченная форма имени *Sulejman* [МК, III, с. 251]. По всей вероятности, имена *Begi* [МК, III, с. 247], *Abi* [МК, I, с. 86], *Selžük* [МК, I, с. 422] также являются уменьшительно-ласкательными формами от полных имен.

Выражение почтительности у тюркских народов передается при помощи особых форм имен. У уйгуров при обращении к старшим (но не старым) по возрасту употребляется форма имени с формантом, привносящим оттенок уважительности-почтительности, который восходит к слову *aka* 'старший брат' (для мужчин) и *häädä* 'старшая сестра' (для женщин); например: *Maxmud aka*, *Batur aka*, *Ujgur aka*, *Ajšäm häädä*, *Büvinur häädä* и т. п. Постоянное употребление этих формантов в личных именах привело к тому, что в ряде районов они, сохраняя свое антропонимическое значение, фонетически деформировались в *-ka* (<*aka*) и *-dä/-tä* (<*häädä*)³, например: *Rišadka*, *Abdumežitka*, *Islamka*, *Maxmudka*, *Keñäşxandä*, *Rizvandä*.

В ряде тюркских языков (казахском, киргизском, татарском и др.) при обращении младших к старшим, для выражения уважения и почтительности употребительны формы имен с формантами *ayä* 'старший брат' (для мужчин) и *ara* 'старшая сестра' (для женщин), причем большей частью данная форма антропонимов употребляется при обращении к родственникам. Более же распространенной является форма имени, представляющая собой сочетание усеченного антропонима с формантом

(или в данном случае уже с аффиксом) -еке, -qa, -ke, как для мужских, так и для женских имен; ср.: мужские формы имен: Aseke (<Asylbek), Isake (<Ismajil) и женские: Raqa (<Rabiya), Zeke (<Zejnep)⁴.

Формант aka во всех его фонетических вариантах восходит к общетюркскому aqqa с вариантами aka~ake~eke, которые, по мнению Э. В. Севортяна, возникли из звательной формы со значениями «отец», «старший брат», «старший родственник», «дядя»⁵. В ряде случаев в тюркских языках сохранилась первоначальная форма; ср. туркменские диминутивные формы антропонимов: Ataqqā, Hožaqqā, Номаqqā⁶ и формы антропонимов в Западном Казахстане: Samaqa, Saqa⁷ и др. Семантико-функциональная эволюция форманта aka и его вариантов была различной для тюркских языков. Так, например, в казахском, киргизском и татарском языках он употребляется для выражения уважительности и почтения, независимо от возрастных соотношений говорящих, а также от пола человека, к которому обращаются. В узбекском языке формант oka употребляется с мужскими именами, также независимо от возраста. В уйгурском же языке употребление форманта aka при обращении к младшим по возрасту выражает значение уменьшительности-ласкательности, и чаще всего он употребляется в именах детей. Однако в случае, когда муж младшей из сестер старше мужа старшей сестры, он, обращаясь к своему свояку, уважительно прибавляет к его имени формант aka.

Особая, специфическая, форма имени, выражающая почтительность, встречается в тюркских языках для обозначения третьего, обычно отсутствующего, лица. Если в казахском языке в этом случае употребляется аффикс притяжательности 2-го лица -η: Äbekeñ, Qožekeñ, Sökeñ, Raqañ (что означает «уважаемый тобой данный человек»), то в уйгурском в подобных случаях используется аффикс притяжательности 1-го лица -m: Munirkam (Munirakam), Šavdunkam (Šavdunakam), Omaydām (Omaq hädām), Gülädām (что означает «уважаемый мной данный человек»). Форма же принадлежности 3-го лица в уйгурских именах вносит оттенок пренебрежительности, уничижительности: Nuri, Aji, Zänti. В подобных именах выражается отрицательная оценка⁸ (ср. казахские формы имен с теми же значениями: Bākesi, Sākesi, Mākesi).

В обращении старших к младшим в тюркских языках широко используются усеченные формы имен с уменьшительно-ласкательными аффиксами. Особенно часто эти формы встречаются в именах детей.

Для тюркских антропонимических систем характерно наличие большого количества официально принятых личных имен, в которых аффиксы уменьшительности слились с именами, и данные антропонимы уже не воспринимаются как диминутивные формы; например: Baliaš, Ba-baš, Bajraš, Tumaš — в казахской, татарской и киргизской антропонимии; Baqi, Baham, Setäk и др. — у уйгуров. Причем от многих из них образовались фамилии: Tumašev, Baqijev, Setäkov, Bajrašev, Bahamov. В неофициальной сфере общения данные аффиксы легко фиксируются, так как они присоединяются к усеченным именам детей. Так, например, в уйгурском языке аффикс -as/-iš/-š употребляется в составе личных имен мальчиков и девочек, присоединяясь к усеченной основе имени и выражая значения уменьшительности-ласкательности: Būvaš (<Büvinur), Mākāš (Mälikām), Yožaš (<Yožalim), Kamaš (<Kamaliddin).

Субъективно-оценочную функцию выполняет и аффикс -ak/-äk, который присоединяется к усеченным формам уйгурских имен: Pätäk (<Patigül), Setäk (<Setivaldi), Nurak (<Nuraxun) и др.; ср. казахские формы: Qožaқ, Saraқ, Tatyq, Nuraқ; татарские: Boznaқ, Maмақ,

Jamak; туркменские: Nuraq, Durdaq, Zumaq и др. Значение вольности-непринужденности выражается при помощи присоединения к усеченным именам мальчиков аффикса -qa: Noqa (<Nurāxmāt), Zaqa (<Zakiržan), Saqa (<Salaxun), Vaqa (<Velaxun) и др. Своеобразным фонетическим вариантом данного аффикса (но не его сингармонической парой!) является аффикс -ka, выполняющий аналогичную функцию и присоединяющийся к усеченным именам как мальчиков — Sāvka (<Sāvirdin), Nāvka (<Nāvirdin), так и девочек — Zoka (<Zorām), Rizka (<Rizvangül)⁹. Еще Махмуд Кашгари отмечал диминутивные образования с помощью аффикса субъективной оценки -qu: ata 'отец' — ataqu 'папочка', ana 'мать' — anaqu 'мама', 'мамочка' [МК, I, с. 155; III, с. 230]. По мнению Т. Т. Талипова, современные уйгурские формы atikam, anikam — результат расширения семантики аффикса -qu в сочетании с аффиксом притяжательности -m¹⁰.

Целый ряд антропонимических формантов в тюркских языках, в частности в уйгурском, восходит к соответствующим словам (žan, aхun, gül, aj, büvi, bikä и др.), но в составе современных имен эти слова, утратив зачастую свое лексическое значение, выступают в качестве аффиксов с диминутивными значениями. Более того, закрепившись как официальные личные имена, антропонимы с подобными формантами во многих случаях начинают утрачивать субъективно-оценочные значения, и их диминутивные образования противопоставляются безаффиксальным именам, то есть воспринимаются как разные имена. Документально такие формы одного имени фиксируются следующим образом: Sajid — Sajidžan, Tuyluq — Tuyluqžan, Murat — Muratbek. Утратив в официальной сфере именованья свое диминутивное значение, многие аффиксоиды в настоящее время развили и значительно расширили другую свою важнейшую функцию — дифференциацию личных имен по полу.

С повсеместным распространением русского языка среди тюркоязычных народов и установлением единой официальной системы именованья особое значение приобретает необходимость формального различения имен по полу. В связи с отсутствием в тюркских языках грамматического рода тюркоязычные народы не развили формальной дифференциации личных имен по полу, хотя в тюркских языках и отмечаются пережитки формального рода¹¹. Мужские и женские имена у тюрков различались отчасти по семантике: названия хищных животных и птиц, слова со значениями доблести, геройства, силы, мудрости и т. п. становились именами мальчиков, а наименования цветов и драгоценностей, слова, выражающие понятия красоты, нежности и т. п., составляли основу женских имен. Кроме того, вместе с арабскими личными именами был заимствован показатель женского рода на -a, ср.: мужские имена Farid, Xafiz, Damir, Kamil и женские Farida, Xafiza, Damira, Kamilä. Многие мужские имена у тюрков также оканчиваются на -a (Riza, Axmetša, Baba), что вносит определенную путаницу¹² в размежевание личных имен по полу.

Особое место в создании мужских и женских имен принадлежит различным антропонимическим формантам. Данный прием ныне становится закономерным для имен с единой основой: ср. уйгурские мужские имена — Bähitžan, Bähitjar, Bähitivaj и женские — Bähtigül, Bähitixan, казахские мужские — Ajdos, Ajbek и женские — Ajgül, Ajbikä, Aizada и др.

Для тувинского языка наиболее распространенным формантом мужских имен является слово ool 'парень', 'мальчик': Aq-ool, Qara-ool, Xeјmen-ool, Čaraš-ool и т. д. Показателем женских тувинских имен ста-

ли форманты *-qys* 'девочка', 'девушка', *игиү* 'ребенок': *Aq-qys*, *Aq-игиү*, *Qaqa-qys*, *Qaqa-игиү*. Кроме того, показателем женского имени в тувинском является аффиксоид *-таа*, восходящий к тибетскому слову со значением «мать»¹³: *Sajlyqтаа*, *Tögeriңтаа*, *Сеҗептаа* и др. Отличительным конечным элементом чувашских мужских имен являются аффиксоиды *-ej*, *-tej* (*Avanej*, *Avantej*, *Uzanej*, *Urantej*, *Uzmantej*); *-upaj* (*Ajupaj*, *Azsupaj*, *Axtupaj*); *-tukan* (*Ajtukan*, *Artukan*); *-marsa* (*Ilmarsa*, *Zanmarsa*). В женских чувашских именах отчетливо выделяется формант *-pi* (<*pike*) 'госпожа': *Api*, *Ikenpi*, *Kalampi*¹⁴.

Следует отметить, что данному способу образования личных имен присущи определенные противоречия. Так, например, в большинстве тюркских языков аффиксоид *-зан* употребляется исключительно в мужских именах, но в ряде языков он присутствует и в женских именах, в казахском же языке это один из самых распространенных (наряду с *gül*) аффиксов женских имен¹⁵. Для носителей тюркских языков подобные противоречия не столь ощутимы, поскольку их значение определяется семантикой основы; например: женские имена — *Gülzan* (*gül* 'цветок'), *Baharzan* (*bahar* 'весна'), *Sulužan* (*sulu* 'красавица') и др.; мужские имена — *Baturzan* (*batur* 'богатырь', 'батыр'), *Qadirzan* (*qadir* 'могучий'), *Polatzan* (*polat* 'сталь') и т. д.

Исключительно «мужской» аффиксоид *-ахун* широко распространен в мужских личных именах уйгуров. Данный формант настолько употребителен, что термин, лежащий в его основе, в разных регионах стал использоваться как этническое прозвище уйгуров¹⁶. Этот формант служит для выражения почтительности, уважения. Происхождение его еще окончательно не установлено. Большинство исследователей возводит его к персидскому *axund* 'господин', 'особый духовный титул'¹⁷. В настоящее время уйгурские личные имена с этим формантом фиксируются документально: *Seripaxun*, *Savutaxun*, *Barataxun*. Практически к любому, даже усложненному другими формантами, мужскому имени для выражения уважения, почтительности в речи можно прибавить формант *-ахун*: *Velivajaxun*, *Axmätžanaxun*, *Tuyluqžanaxun*.

Второе место по распространенности в уйгурских мужских именах занимает аффиксоид *-жан*: *Axmätžan*, *Azizžan*, *Ağuržan*, *Tejiržan*. Он широко употребителен и в узбекской антропонимии. В узбекском и уйгурском языках этот формант сочетается и с нарицательными именами, приобретая значение уменьшительно-ласкательного аффикса: *ukižan* 'братишка' (младший), *akižan* 'братик' (старший), *jağıžan* (ласкательная форма слова *jağ* 'возлюбленный') и др. По мнению А. Н. Кононова, в данном случае имеет место контаминация древнетюркского слова *čang—saң—сап* 'количество', 'количество времени', 'время' (на основе которого развился уменьшительно-ласкательный аффикс *-čok*, *-čik*, *-ča*) и таджикско-персидского слова *žon* 'душа', вошедшего в словарь целого ряда тюркских языков¹⁸.

К числу других формантов уйгурских мужских личных имен относятся: *-бай/-вај* (*Velivaj*, *Axunbaj*); *-бек* (*Muratbek*, *Nurbek*, *Qadirkbek*), *-хан* (*Arslanhan*, *Qaraxan*), также восходящие к словам, значение которых в большинстве случаев проявляется не так четко, как в казахских, киргизских, татарских антропонимах¹⁹. Данные аффиксоиды распространены у уйгуров ограниченно и встречаются регионально, в антропонимии же казахов, татар, киргизов они отличаются большой частотностью.

В качестве показателя женского имени в уйгурском языке также выступают определенные форманты. Одним из самых распространенных

формантов уйгурских женских имен (и вообще тюркских женских имен) является элемент *gül* 'роза, цветок'. Данный компонент имени может находиться в препозиции (*Gülžamal*, *Gülbağar*, *Gülžahan* и др.). В этом случае лексическое значение *gül* является определяющим в семантике личного имени, например: *Gülžamal* 'красивый лицом, как цветок'; *Gülžahan* 'цветок вселенной' и др. Выступая в постпозиции, элемент утрачивает свое лексическое значение, выполняя функцию уменьшительно-ласкательного аффикса²⁰, а также функцию показателя женского имени: *Amangül*, *Azatgül*, *Bähtigül* (ср. мужские имена: *Amanžan*, *Azatbek*, *Bähtibaj*).

Весьма распространен в уйгурских женских именах формант *büvi*, имеющий первоначальные значения: 1) 'хозяйка, госпожа'; 2) 'представительница аристократии'. Встречается данный элемент в личных именах в препозиции (*Büvinur*, *Büvixan*, *Büviajšām*), но чаще в постпозиции в качестве аффиксоида с явно выраженным ласкательным оттенком значения, а также в качестве формального показателя женского имени: *Risalätbüvi*, *Toxtabüvi* (ср., мужское имя *Toxtižan*), *Tur-sunbüvi* (ср., мужское имя *Tursunžan*) и др.

Менее распространен в уйгурских женских именах аффикс *-aj* (*Tur-sunaj*, *Ročunaj*, *Aqizaj* и др.). В таджикской и узбекской антропонимии этот аффикс очень активен. По мнению А. Н. Кононова, аффикс *-oj* (<-aj<qaj<qoq) — уменьшительный аффикс, сопоставляемый с именем существительным *aj* 'луна'²¹.

Чрезвычайно продуктивным в уйгурском языке является образование женских личных имен с помощью аффикса *-m/-äm/-üm/-im*: *Ajšām*, *Ajnurām*, *Azadām*, *Yunčam* и др. Как подчеркивает А. Н. Кононов, высказанные рядом лингвистов (Рясянен, Брокельман) предположение, что *-m/-üm/-im* — уменьшительный аффикс, «заслуживает наибольшего внимания, если иметь в виду, что все другие аффиксы, образующие названия особей женского пола, являются по своему значению уменьшительными»²².

Г. С. Садвакасов отмечает, что аффикс *-m/-üm/-im/-äm*, присоединяясь к основе собственных имен, мужских и женских, а также к нарицательным существительным, обозначающим титул, сан, звание, передает значения почтительности, вежливости²³. Однако в системе официально принятых личных имен образования с данным аффиксом встречаются исключительно в женских именах. В неофициальной же сфере, присоединяясь к усеченным основам мужских имен, аффикс *-m* может вносить также и значение иронии, насмешки, например: *Avam* (<Avak-gi), *Näväm* (<Nävirdin) и др.²⁴

Данный показатель был продуктивен еще в средневековых женских именах. В «Записках Бабура», пожалуй, единственном памятнике, более или менее отразившем женский именник тюрков средневековья (так, ср.: в «Диване» Махмуда Кашгари из 105 приведенных антропонимов лишь 3 — женские имена²⁵, в башкирских шежере из 1270 личных имен всего 20 женских²⁶, очень мало женских имен в «Манасе»²⁷ и других памятниках), для большинства женских имен характерен аффикс *-m/-üm/-im*: *Sultan Nigar Xanum*, *Sax Sultan begim*, *Aya begim* и др.²⁸. Анализируя женские имена «Бабур-наме», Г. Ф. Благова пишет: «В титулатуре, призванной дифференцировать иерархическую принадлежность женщины, ясно прослеживается производность от соответствующей мужской титулатуры. В целях такой деривации, как правило, используется посессивный показатель 1-го лица ед. числа *-(i, u) m*, играющий здесь роль своего рода ограничителя: он снимает социальную

значимость титула, подчеркивает его „невсамделишность” — из сферы официальной титул переводится в сферу интимную (например Шахим — это шах только для меня, а не царь на самом деле)»²⁹.

В азербайджанском языке аналогичные феодальные титулы *bāj*, *хап* и производные от них *bājim*, *хапут* (а также *бапи*, *bikā*) в настоящее время употребляются в функции родополовых маркеров: первые образуют мужские имена, вторые — производные от первых — женские³⁰.

Исключительный интерес представляет употребление в уйгурских женских именах аффикса *-хан*. Данный аффикс широко распространен в женских именах большинства тюркских языков, но он особенно продуктивен в уйгурской и узбекской антропонимии. Омонимичный данному аффиксу антропорформант *-хан* в мужских личных именах в тюркских языках сохраняет свое лексическое значение «хан», «правитель» и обычно употребляется в составе «чисто мужских» имен: *Arslanxan*, *Ablaxan*, *Qadixan*, *Muratxan*. В узбекском же языке, как пишет А. Г. Гулямов, аффикс *-хон*, присоединяясь к основам мужских имен, выражает значения презрительности, уничижительности, в частности, в составе имен мальчиков указывает на объект педерастии³¹.

Данный аффикс имеет параллели и в других алтайских языках. Так, для монгольских языков, которые сохранили реликтовые морфологические показатели, выражающие естественный пол и грамматический род³², аффикс *-хан* (*-хп*, *-хон*, *-хен*) имеет в своей семантике уменьшительно-ласкательное значение и продуктивен в женских именах: *Dulaxn*, *Amgaxn*, *Nalaxn*³³.

А. Н. Кононов указывает, что аффикс *-qan*, *-kän* < -q/-k + °п — два уменьшительных аффикса, восходящих к общеалтайскому аффиксу диминутива. В древнетюркском языке диминутивные формы от слова *tänri* — *tänrikān*, *tänri-m* означали «императрица»³⁴.

Таким образом, можно предположить, что аффикс *-qan/-хан* в современных женских тюркских именах, так же как и показатель *-(i, ü, ä) m*, является реликтовым показателем женского рода.

Несомненный интерес представляет также употребление для дифференциации имен по полу фонетических вариантов аффиксов *-aq* и *-äk/-ak* в уйгурской антропонимии. Как мы уже указывали, первый аффикс присоединяется лишь к именам мальчиков, придавая им значения субъективной оценки, тогда как второй (*-äk/-ak*) встречается как в именах мальчиков, так и в именах девочек. Аналогичное употребление имеют и аффиксы *-qa* и *-ka*. Ученые отмечали, что для тюркских³⁵ и для алтайских языков в целом³⁶ характерно наличие в ишлауте и ауслауте оппозиции сильных (глухих) и слабых (звонких) звуков, выступающих в качестве смыслоразличительного элемента в терминах родства. Данное явление, на наш взгляд, получило отражение и в антропонимии, тесно связанной с терминами родства.

Широкое распространение в речи усеченных форм личных имен с различными, в основном диминутивными, аффиксами позволяет предположить, что подобные образования восходят, вероятнее всего, к древнейшему обычаю сокрытия имени, связанному с первобытными верованиями, с табу и эвфемизмами. Анализ антропонимических формантов и аффиксов позволяет также предположить, что в тюркской антропонимии существовала издревле не только лексическая, но и формальная (с наличием различных формантов) дифференциация личных имен по полу, о чем свидетельствует, например, общеалтайский показатель жен-

ского рода *-qan* и реликтовый показатель *-(i, ü, ä)t* в тюркских женских именах.

Изучение происхождения антропонимических формантов в тюркских языках и особенно анализ выполняемых ими в настоящее время функций имеет большое значение, так как в разных тюркских языках одни и те же форманты могут нести различные, порою самые противоположные, семантические и функциональные нагрузки.

¹ См.: А. В. Суперанская. Личные имена в официальном и неофициальном употреблении. — В сб.: «Антропонимика», М., 1970, стр. 180—188.

² Все личные имена даются в латинской транскрипции. Антропонимы из «Дивана» приводятся по узбекскому изданию: «Девону луготит-түрк», Ташкент, I, 1960; II, 1961; III, 1963.

³ Г. С. Садвакасов. О средствах выражения субъективной оценки в семиреченском говоре уйгурского языка. — В кн.: «Исследования по тюркологии», Алма-Ата, 1969, стр. 192.

⁴ См.: Т. Ж. Жанузаков. Кісі аттарының қурылысы мен сипаттары. — «Известия АН Каз. ССР. Серия филологии и искусствоведения», 1958, вып. 1—2, стр. 174; Г. Ф. Саттаров. Отчества и категории вежливости в современной татарской антропонимии. — «Советская тюркология», 1975, № 1; Ф. А. Абдуллаев. Киши атларни қисқартыш усуллари. — «Узбек тили ва адабиёти масалалари», 1960, № 2; С. А. Исмаилова, Е. И. Овчинникова. Личные имена и их варианты в киргизском языке. — В кн.: «Вопросы ономастики», Свердловск, 1980, стр. 131—139.

⁵ Э. В. Севортян. Этимологический словарь тюркских языков (общетюркские и межтюркские основы на гласные). М., 1974, стр. 121.

⁶ Б. Чарыяров, С. Атиязов. Диалекты и туркменская антропонимия. — «Советская тюркология», 1976, № 1, стр. 147.

⁷ Т. Джанузаков. Основные проблемы казахского языка. Автореф. докт. дисс., Алма-Ата, 1976, стр. 41.

⁸ Г. С. Садвакасов. Указ. раб., стр. 195.

⁹ Там же, стр. 186—187.

¹⁰ Т. Талипов. Историческое развитие фонетики уйгурского языка. Автореф. докт. дисс., Алма-Ата, 1983, стр. 30—31.

¹¹ А. Н. Кононов. Грамматика современного литературного турецкого языка. М.—Л., 1956, стр. 64—66; Н. К. Дмитриев. О категории грамматического рода в азербайджанском языке. — В кн.: «Строй тюркских языков», М., 1961, стр. 350—355.

¹² В. А. Никонов. Размежевание личных имен по полу у тюркских народов. — «Советская тюркология», 1972, № 2.

¹³ «Справочник личных имен народов РСФСР», М., 1979, стр. 177.

¹⁴ Там же, стр. 190.

¹⁵ Г. Д. Джанузаков. Очерк казахской ономастики. Алма-Ата, 1982, стр. 14.

¹⁶ К. К. Юдахин. О киргизском термине *акын*. — В кн.: «В. А. Гордлевскому к его 75-летию», М., 1953, стр. 325; Г. С. Садвакасов. Язык уйгуров Ферганской долины. 2. Алма-Ата, 1976, стр. 132.

¹⁷ К. К. Юдахин. Указ. раб., стр. 326—327.

¹⁸ А. Н. Кононов. Грамматика современного узбекского литературного языка. М.—Л., 1960, стр. 127.

¹⁹ См.: Т. Джанузаков. Указ. раб.; Г. Саттаров. Указ. раб. и др.

²⁰ Н. А. Баскаков. Элемент *gül* 'роза', 'цветок' в составе каракалпакских женских имен. — В кн.: «Ономастика Средней Азии», I. М., 1978, стр. 138—142.

²¹ А. Н. Кононов. Грамматика современного узбекского литературного языка, стр. 128.

²² Там же, стр. 71.

²³ Г. С. Садвакасов. О средствах выражения субъективной оценки в семиреченском говоре уйгурского языка, стр. 194.

²⁴ Там же, стр. 195.

²⁵ В. У. Махпиров. Антропонимы в «Дизану лугат-ит-тюрк» и «Кутадгу билик». — «Советская тюркология», 1979, № 4.

²⁶ Т. Х. Кусимова. Антропонимы в башкирских шежере. — В кн.: «Ономастика Поволжья», 3, Уфа, 1973.

²⁷ Б. О. Орузбаева. О собственных именах эпоса «Манас». — В кн.: «Ономастика Средней Азии», 2, Фрунзе, 1980, стр. 67—69.

²⁸ Г. Ф. Благова. Тюркские средневековые женские личные имена (по материалам «Бабур-наме»). — В кн.: «Личные имена в прошлом, настоящем и будущем», М., 1970, стр. 253.

²⁹ Там же, стр. 254—255.

³⁰ М. Адилов, З. Садыков. Об азербайджанской антропонимии. — «Советская тюркология», 1971, № 3, стр. 116.

³¹ А. Г. Гулямов. О некоторых особенностях аффиксов с уменьшительно-ласкательным значением. — В кн.: «Научные труды ТашГУ им. В. И. Ленина. Новая серия. Вып. 26. Языкознание и литературоведение», Ташкент, 1953, стр. 20.

³² Б. Я. Владимирцов. Следы грамматического рода в монгольском языке. — «Доклады Академии наук СССР. Серия В», М., 1925, стр. 31—34.

³³ См.: Н. Б. Алдарова. Бурятская антропонимическая лексика. Исконные личные имена. Автореф. канд. дисс., М., 1979, стр. 11; Г. Ц. Пюрбеев. Дифференциальные признаки мужских и женских личных имен калмыков. — В кн.: «Ономастика Поволжья», 2, 1971, стр. 58—62.

³⁴ А. Н. Кононов. Грамматика языка тюркских рунических памятников VII—IX веков. Л., 1980, стр. 96—97.

³⁵ А. Н. Кононов. Грамматика языка тюркских рунических памятников, стр. 103—104.

³⁶ В. И. Цинциус. Алтайские термины родства и проблемы их этимологии. — В кн.: «Проблема общности алтайских языков». Л., 1971, стр. 130.

СООБЩЕНИЯ, ОБЗОРЫ

А. Дж. ШУКЮРОВ

К ВОПРОСУ ОБ ЭТИМОЛОГИИ ПОСЛЕЛОГА sary/saru И ИСТОРИЯ ЕГО РАЗВИТИЯ В АЗЕРБАЙДЖАНСКОМ ЯЗЫКЕ

Происхождение послелога sary/saru до сих пор еще недостаточно изучено. Существующие мнения специалистов об этимологии этого служебного слова во многом расходятся.

О. Бётлингк полагал, что слово sag 'место', лишенное лексического значения, происходит от соединения sa + ʔag¹. К. Брокельман считал, что слово sag, лежащее в основе послелога sary/saru, является застывшим в директивной падежной форме архаичным именем существительным². Почти аналогичную позицию занимает и Я. Г. Гулямов, по утверждению которого данный послелог в узбекском языке появился в результате обособления имени существительного sāg, сохранившегося в ташкентском говоре узбекского языка³. По мнению С. Дурана и М. Рсянена, данный послелог происходит от древнего служебного слова suʔary, встречающегося в памятниках уйгурской письменности X—XIII веков. С. Дуран считает, что послелог sary развивался следующим образом: suʔary > sary⁴. По версии М. Рсянена, служебное слово sary, прежде чем обрело стабильную форму как послелог, прошло три ступени развития: suʔag > saʔag > sag⁵. Ф. Зейналов расчленяет послелог sary на неразложимые в современных тюркских языках компоненты sa + ʔu. Таким образом, он возводит sa к местоимению sāp 'ты', а -ʔu к аффиксу директивного падежа⁶. По утверждению М. Эргина, данный послелог обособился от глагола⁷. Однако глагола sag с направительным значением в тюркских языках нет. Не зафиксирован он в таком значении и в памятниках тюркской письменности. Среди высказанных гипотез об этимологии послелога sary/saru, на первый взгляд, наиболее убедительной выглядит версия С. Дурана и М. Рсянена.

В орхонских письменных источниках слово suʔary встречается в знаменательном значении «половина»: *Suʔary bodun içikdi* [1, с. 18] 'По-

¹ O. Böttlingk. Über die Sprachen der Jakuten. SPb., 1851, стр. 274.

² C. Brockelmann. Osttürkische Grammatik der islamischen Literatursprachen Mittelasians. Leiden, 1954, стр. 171.

³ Я. Г. Гулямов. Грамматика ташкентского говора. Автореф. докт. дисс., Ташкент, 1968, стр. 145.

⁴ S. Duran. Türkcede cihet ve mekan gösteren ek ve sözler. — «Türk Dili Araştırmaları Yıllığı. Belleten». Ankara, 1956, стр. 63.

⁵ M. Räsänen. Materialien zur Morphologie der türkischen Sprachen. Helsinki, 1957, стр. 65.

⁶ Ф. Зейналов. Мүасир түрк дилләриндә көмәкчи нитг һиссәләри. Бақы, 1971, стр. 103.

⁷ Muharrem Ergin. Türk dil bilgisi. Sofiya, 1967, стр. 351.

ловина народа подчинилась нам'; Bizintä äki uçy *syñarça* artug ärti [2, с. 40] 'Их два крыла наполовину были многочисленнее нас'.

В уйгурских памятниках, созданных позднее, слово *syñar* функционирует в качестве послелога и выражает значение «направление, бок, сторона». В отличие от *sary/saru* оно сочетается с именем в форме исходного или местно-исходного падежа: *Küdäzkä meni ol qamuıdyñ syñar* [3, с. 284] 'Береги меня всюду (букв. со всех сторон)'; *Inir oıurta taydyñ syñar jüzlänip* [4, А 76] 'На рассвете, повернувшись в сторону севера'; *Antyn syñar jakyn baryğ* [5, с. 28] 'С той стороны подойдет ближе'; *Kün ortuda syñar jel tursar* [6; 10, с. 6] 'Если поднимется ветер с юга'.

Служебное слово *syñar/synary*, по-видимому, функционировало только в староуйгурском языке, ибо оно отсутствует в средневековых памятниках, написанных на других тюркских литературных языках. Не встречается это слово и в современных тюркских языках.

Что же касается послелога *sary/saru*, то он получил распространение только в некоторых современных тюркских языках: азерб., койб., сал., тур., узб. *sary*, алт. *jar/jaar*, кар. *saryn*, шор. *saaga*. В хакасском литературном языке послелог *sary* превратился в аффикс направительного падежа—*-sar/-ser*, *-zar/-zer*: *stolzar* 'к столу', *čarzar* 'к берегу', *ibzer* 'к юрте', *sassar* 'к болоту', *xapsar* 'к мешку' и т. д.⁸ Но в саларском и сагайском диалектах хакасского языка этот послелог продолжает функционировать в своей полной форме: сал. *saru*, саг. *jaru*.

Обособление послелога *sary/saru* от знаменательного слова, на наш взгляд, не вызывает сомнений. Но по сравнению с послелогами *ičün*, *kibi*, *birlä*, *täk*, *däk* и т. д. он, несомненно, является новым. Поэтому А. М. Щербак, говоря об отделении послелогов от имен, отмечает, что слово *sary* в восточнотуркестанском языке в качестве послелога вообще не известно: «Имея только знаменательное значение, оно присоединяет к себе формативы многих падежей»⁹.

Поскольку служебное слово *syñar* отсутствовало во многих других тюркских языках средних веков, а слово *sar*, к которому предположительно возводится послелог *sary*, обладало в XI—XVI веках еще знаменательным значением, они, на наш взгляд, имеют разное происхождение.

Наличие послелога *sary* в таких удаленных друг от друга по ареалу, а также по фонетическим и лексико-грамматическим свойствам тюркских языках, как алтайский, койбальский, караимский, шорский, азербайджанский и т. д., показывает, что он не является неологизмом. По нашему мнению, этот послелог появился примерно на рубеже начала распада тюркского праязыка и поэтому отсутствует в большинстве современных тюркских языков.

Послелоги, как известно, образуются вследствие изоляции из состава либо изафетной конструкции, либо деепричастного оборота. Послелоги, имеющие именное происхождение, обособляются из состава изафетного словосочетания и поэтому выражают грамматические отношения не только между именем и глаголом, но и между двумя именами. Напротив, послелоги глагольного происхождения, обособленные из состава деепричастного оборота, выражают грамматические отношения только между именем и глаголом¹⁰. Но имеются случаи, когда послелог, обособлен-

⁸ «Грамматика хакасского языка», М., 1975, стр. 74.

⁹ А. М. Щербак. Грамматический очерк языка тюркских текстов X—XIII вв. из Восточного Туркестана. М.—Л., 1961, стр. 183.

¹⁰ А. Дж. Шукюров. К вопросу об этимологии послелогов *birlä* и *ilä* в тюркских языках. — «Советская тюркология», 1984, № 1, стр. 72—76.

ный от имени, приобретает в процессе развития языка грамматические свойства послелогов, обособленных от глагола. Если основываться на изложенных выше положениях об образовании послелогов в тюркских языках, то следует возвести послелог *sary/saru* к глаголу, на что указывает М. Эргин, ибо в настоящее время этот послелог может выразить грамматические отношения только между именем и глаголом. Однако нельзя упускать из виду, что послелогом, обособившимся от глагола, не изменяются по падежам и числам, тогда как послелог *sary/saru*, хотя и выражает грамматические отношения только между именем и глаголом, в сочетании с именем изменяется и по падежам, и по числам. Но происходит это только в тех случаях, когда служебное слово *sary/saru* сочетается с именем в форме основного или родительного падежа. Это с достаточной определенностью указывает на то, что послелог *sary/saru* изолировался от имени существительного и первоначально употреблялся, по-видимому, только в сочетании с именем в форме основного или родительного падежа.

Значение слова *sar/sär*, лежащего в основе послелога *sary/saru*, и первичная форма его функционирования в качестве послелога также еще не изучены. Слово *sar/sär*, на основе которого, как предполагают, возник послелог *sary/saru*, отсутствует в современных тюркских языках. Зарегистрированное В. В. Радловым слово *sar* показывает, что первоначально оно функционировало в роли второго компонента изафетной конструкции второго или третьего типа. Поэтому оно в соответствии с грамматическим законом образования изафетной конструкции присоединяло к себе аффикс категории принадлежности третьего лица: *eziktin iki sarynda iki alyp turčadur* 'по обеим сторонам дверей стояли два героя'¹¹ (*eziktin sar-y* 'стороны дверей').

Если считать, что послелог *sary/saru*, подобно послелогам, имеющим именное происхождение, обособился из состава изафетной конструкции, то вполне вероятно, что гласные *-y/-и*, входящие в его состав, являются аффиксом категории принадлежности третьего лица.

Современные слова с начальными согласными *s* или *j*, по-видимому, восходят к пратюркской форме межзубной аффрикаты *δ*. Процесс перехода данного звука в *s*, затем в *j* ясно можно видеть на сравнительной таблице слов, взятых из современного якутского, туркменского и азербайджанского языков:

В пратюркском языке	В якутском языке	В туркменском языке	В азербайджанском языке	Перевод
<i>δāj</i>	<i>sā</i>	<i>jāj</i>	<i>jaj</i>	'лук (оружие)'
<i>δök</i>	<i>suox</i>	<i>jök</i>	<i>jox</i>	'нет, отсутствующий'
<i>δöl</i>	<i>suol</i>	<i>jöl</i>	<i>jol</i>	'дорога'
<i>δön</i>	<i>suor-</i>	<i>jön-</i>	<i>jon-</i>	'тесать, строгать'
<i>δürt</i>	<i>sürt</i>	<i>jürt</i>	<i>jurd</i>	'жилище, стойбище'
<i>δäs</i>	<i>säs</i>	<i>jäδ</i>	<i>jaz</i>	'весна'
<i>δaš</i>	<i>säš</i>	<i>jaš</i>	<i>jaš</i>	'молодой; год жизни' ¹²

Сопоставление слов и их пратюркских форм показывает, что послелог *sary/saru* прошел следующий путь развития: *δar* > *δary* > *sary/saru*.

Что же касается послелогов *jaγ*, *jaag*, *jaγu*, являющихся также вариантами послелога *sary/saru*, то они появились, на наш взгляд, позже:

¹¹ В. В. Радлов. Опыт словаря тюркских наречий. Т. IV, ч. I, стр. 313.

¹² Примеры из современного якутского и туркменского языков и восстановленные их пратюркские формы заимствованы из работы: А. М. Щербак. Сравнительная фонетика тюркских языков. М., 1970, стр. 51.

Mäni jar pol 'Обратись ко мне'; *Täpärä jar kördi* 'Он смотрел на небо'; *Pola platty adazyn jar tastady* 'Дочь бросила платок своему отцу'¹³.

Слово *sar/sär*, на основе которого, как уже отмечалось, вероятно, образовался послелог *sary/saru*, первоначально имело значение «место, бок, близость, вокруг». По-видимому, слово *jör/jögä* 'бок, близость, вокруг', сохраняющееся в разговорном азербайджанском языке в составе синонимического сочетания *jan-jögä* 'бок, поблизости, вокруг', является фонетически измененной формой слова *dar>sar*. Это слово, подобно послелогу *sary*, имеет следующую этимологию: *dar>sar/sär>jör: jan-jögäsi* 'поблизости, от него'.

В памятниках азербайджанской письменности слово *sary/saru* встречается в основном в составе изафетной конструкции первого или второго типа. В этих случаях служебное слово *sary/saru*, принявшее неразложимую форму, сочетается с именем в основном или родительном падеже и изменяется по падежам и числам. Это достаточно ясно наблюдается в памятниках азербайджанского языка XIV—XVI веков, где служебное слово *sary/saru* еще не стабилизировалось как послелог. В составе изафетной конструкции слово *sary/saru* присоединяет к себе один из аффиксов пространственных падежей, выражает не только направление, но и место или исходный момент действия, сохраняя свое лексическое значение — близость к какому-нибудь предмету. Это слово функционирует в составе изафетной конструкции:

а) в роли второго компонента изафетной конструкции первого типа; принимая аффикс дательного падежа, выражает направление к определенному предмету, обозначенному первым компонентом: *O jagadan saruja sejr edävüz* [7, с. 32] 'Отправимся в сторону (того могущества) создавшего (нас)'; *Mäşugä saruja baxa aşig* [8, с. 87] 'Смотрел бы влюбленный в сторону возлюбленной'; *Ta män jüzümü giblä saruja gö-tügüm* [9, с. 292] 'Я направляю свой взор в сторону Каабы';

б) в роли второго компонента изафетной конструкции второго типа; принимая аффикс дательного или исходного падежа, выражает направление, место или исходный момент действия. При функционировании в роли второго компонента изафетной конструкции служебное слово *sary/saru* повторно принимает аффикс категории принадлежности. Это происходит потому, что изолированный ранее аффикс категории принадлежности окончательно утратил свое грамматическое значение и стал неотделимой частью служебного слова *sary/saru* (<*sar-y/sar-u*): *Ej säba, gyl bir g'üzar ol biväfa sarysyňa* [10, с. 91] 'О утренний ветер, дуй в сторону этой неверной возлюбленной'; *Kärbälä sarysyňa rävan oldi* [9, с. 301] 'Он отправился в сторону Кербалы'; *Täbriz sarysyňa jüz gojdi* [11, с. 90] 'Он отправился в сторону Тавриза';

в) в роли второго компонента изафетной конструкции третьего типа; принимая аффикс дательного падежа, выражает направление в сторону определенного предмета, обозначенного первым компонентом: *Sultan Ähmäd anun näfi icün taxtdan gopub Ärdäbilün sarysyňa rävan oldi* [11, с. 83] 'Султан Ахмед ради его пользы оставил свой престол и отправился в сторону Ардебил'.

В азербайджанских памятниках послелог *sary/saru* иногда сочетается с именем в форме основного или родительного падежа и выражает направление действия: *Dilbära, äzm ejlädün gülsän saru sejr etmägä* [12, I, с. 295] 'О красавица, ты отправилась в сторону цветущего сада, чтобы прогуляться'; *Ganatlu guş kibi här däm säniň saru uçajdurmän* [10, с. 74]

¹³ В. В. Радлов. Указ. раб., т. III, ч. 1, стр. 101.

‘Лететь бы мне подобно крылатой птице всегда в твою сторону’; *Därg’ah saru näzär gylur ol* [8, с. 183] ‘Он обращает свой взор в сторону божества’; *Gäldilär ol mömin saru* [13, с. 35] ‘Они пришли к тому набожному человеку’; *Ozläri zäzirä saru jürärdilär* [14, с. 15] ‘Они сами шли в сторону острова’; *Män dä jöñüm säniñ sary tutmuşam* [15, с. 56] ‘И я стою, обратившись в твою сторону’.

Направительное значение послелога *sary/saru*, выраженное без присоединения к нему аффикса дательного падежа и в сочетании с именем в форме основного падежа, явилось, по-видимому, началом его обособления.

Слово *sary/saru* функционирует в грамматической связи с именем и глаголом. Утратившее свое лексическое значение, слово *sary/saru* в этих случаях сочетается с именем и в форме дательного падежа. Это приобретенное позднее грамматическое свойство позволяет данному послелогу, в отличие от послелогов, изолированных от имен, выразить грамматические отношения между именем и глаголом. Сочетание послелога *sary/saru* с именем в форме дательного падежа было связано, по-видимому, с его директивным значением, требующим аффикса дательного падежа: *Dur imdi oña saru säfär gyl* [16, с. 24] ‘Теперь ты встань и направляйся (в ее сторону) к ней’; *Köñlüm axar Mädinäjä saru* [9, с. 203] ‘Мое сердце влечет в сторону Медины’.

Сочетание послелога с именем в исходной падежной форме свойственно в основном послелогам, обособленным от глагола. Поэтому, если учитывать, что послелог *sary/saru* изолировался из состава изафетной конструкции, то сочетание его с именем в форме исходного падежа является результатом позднего развития азербайджанского языка.

Послелог *sary/saru* в сочетании с именем в форме исходного падежа выражает:

а) исходный момент действия: *Gullug edän adamlar kim bunlardan saru idilär, ümid kāmāri bellärindän cözüb här biri bir buzağa vardylar* [11, с. 51] ‘Люди, которые служили (там), пришли с той стороны, потеряв свои надежды (на это), разошлись в разные стороны’;

б) причину: *Bizdän sary ol mah köñlün savudubdur* [10, с. 14] ‘Эта красавица обиделась на нас’.

Послелог *sary* в современном азербайджанском языке, в отличие от староазербайджанского, сочетается с именем обычно в форме дательного падежа и выражает направление. Но встречаются случаи, когда это служебное слово сочетается с именем и в форме основного или родительного падежа. Тогда послелог *sary* функционирует в качестве второго компонента изафетного словосочетания второго или третьего типа и, как в староазербайджанском языке, присоединяет к себе аффикс исходного падежа и лишь формально указывает на исходный момент действия. Таким образом, служебное слово *sary* в сочетании с именем в форме исходного падежа выражает отношение к лицу, предмету или действию: *Manim sarydan joxsa gorxursan* [17, с. 179] ‘Или ты боишься меня’; *Bu sarydan gyzyn üräji sakitläşmädi* [18, с. 80] ‘В этом отношении сердце девушки не успокоилось’; *Ahmädli jajlasında jol sarydan hälä çox is görlümälidir* [19] ‘В отношении дороги на Ахмедлинском плоскогорье многое еще предстоит сделать’.

В диалектах азербайджанского языка и в разговорной речи все еще отмечаются случаи, когда служебное слово *sary*, сочетаясь с именем в основном или родительном падеже, присоединяет к себе аффиксы пространственных падежей и выражает направление, место или исходный

момент действия. В этом значении *saryu* функционирует и во множественном числе: *Bizim saryja (sarylara) da g'älin* Приходите и к нам (в нашу сторону); *Bizim saryja jolunuz düsmür?* 'Вы не держите путь к нам (в нашу сторону)?'; *Bizim sarylarda buna çox rast g'älmäk olur* 'С этим часто можно встретиться в наших сторонах (краях)'; *Bizim sarylardan g'älän joxdur?* 'Никто не пришел из нашей стороны?'

Подводя итог сказанному, можно заключить, что послелог *saryu* обособился из состава изафетной конструкции и что в его основе лежит имя существительное *sag*, которое прошло до стабилизации в неразложимой форме сложный и долгий путь развития. Несмотря на то, что данный послелог обладает некоторыми грамматическими особенностями послелогов, обособленных от глагола, он сохраняет реликтовое свойство имени — способность изменяться по падежам и числам. Однако окончательное обособление послелога *saryu* в азербайджанском языке все еще до конца не завершено. Поэтому он (в основном в диалектах и разговорной речи) продолжает функционировать в составе изафетной конструкции и в соответствии с этим присоединяет к себе аффиксы падежной категории и числа.

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ НАЗВАНИЙ ЯЗЫКОВ

- кар. — караимский язык.
койб. — койбальский язык.
саг. — сагайский диалект хакасского языка.
сал. — саларский диалект хакасского языка.

ЛИТЕРАТУРА

1. «Памятник в честь Моюн-чура». — С. Е. Малов. Памятники древнетюркской письменности Монголии и Киргизии. М.—Л., 1959, стр. 30—44.
2. «Памятник в честь Тоньюкука». — С. Е. Малов. Памятники древнетюркской письменности. М.—Л., 1951.
3. «Кутадгу билиг» Юсифа Баласагунского. — См.: «Древнетюркский словарь», Л., 1969.
4. W. Bang und A. von Gabain. Türkische Turfan-Texte. V. Aus buddhistischen Schriften. — «Sitzung berichte der Preussischen Akademie der Wissenschaften», XIV, 1931, стр. 323—356.
5. Mahmud Kaşğari. Divanu lügatit-Türk tercümesi. Tercümeçi Besim Atalay, II, Ankara, 1940.
6. Von Le Coq. Türkische Manichaica aus Chotsche. II, — «Abhandlungen der Berliner Akademie der Wissenschaften», № 3, 1919, стр. 3—15.
7. «Эсрарнамэ» (XV в.). Баку, 1964.
8. Шаһ Исмајыл Хатаи. Эсрәләри, II ч., Баку, 1973.
9. «Шүһәданамэ». Рукописный памятник XVI века. Рукописный фонд АН Азербайджанской ССР, инв. № М-259.
10. Кишвәри. «Диван». Рукописный памятник (XV—XVI вв.). Рукописный фонд АН Азербайджанской ССР, инв. № М-27.
11. «Согватус-Сафа». Рукописный памятник XVI века. Публичная библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина в Ленинграде. Ханьков, инв. № 92.
12. Икәдәддин Нәсими. Эсрәләри (XIV—XV вв.), I, II, III ч., Баку, 1973.
13. Әмәли. «Диван». Рукописный памятник XVI века. Фотокопия лондонского списка. Рукописный фонд АН Азербайджанской ССР. ФС — 12.
14. «Сејфүл-Мүлүк». Рукописный памятник XVIII века. Рукописный фонд АН Азербайджанской ССР, инв. № Б-1651 (1921).
15. Молла Пәнаһ Вагиф. Сечилмиш эсрәләри. Баку, 1970.
16. Шаһ Исмајыл Хатаи. Дәһнамэ. Рукописный памятник XVI века. Ленинградское отделение ИВ АН СССР, инв. № В-289.
17. Мирзә Фәтәли Ахундов. Эсрәләри, I ч., Баку, 1958.
18. Исмајыл Шыхлы. Дәли Күр. Баку, 1968.
19. Газ. «Коммунист» (на азерб. яз.), 1973, 18 апреля.

Ж. М. ГУЗЕЕВ

ПРОИЗВОДНЫЕ ФОРМЫ СЛОВ В ОБЩИХ СЛОВАРЯХ ТЮРКСКИХ ЯЗЫКОВ

Как известно, значительная часть лексики в любом языке является производной [1, с. 39; 3, с. 110]. В тюркских языках производные слова создаются главным образом аффиксальным способом. Ближайшее ознакомление с тюркскими толковыми и тюркско-русскими словарями показывает, что в большинство из них необоснованно включаются на правах самостоятельных лексических единиц многие нелексикализованные производные формы. Вот почему при составлении словариков общих словарей тюркских языков весьма важным является решение вопроса о включении в них производных форм.

В настоящей статье на материале общих словарей тюркских языков рассматривается лексикализация регулярных словообразовательных и грамматических форм.

Регулярные словообразовательные формы. Самыми продуктивными в словообразовании считаются аффиксы *-лы, -сыз, -чы, -чан, -рак, -гыч, -дагы* и др. Эти аффиксы некоторыми лингвистами квалифицируются не только как словообразующие, но прежде всего как формообразующие средства. Однако в тюркских языках формообразование достаточно не изучено, поэтому в большинстве из них формообразующие аффиксы продолжают рассматриваться в качестве словообразующих [7, с. 6]. Это находит свое отражение и в общих словарях тюркских языков: многие регулярные словообразовательные формы регистрируются в них как самостоятельные слова.

Факты показывают, что при словообразовании в тюркских языках первоначально почти все аффиксы образуют грамматические формы, а в дальнейшем некоторые формы лексикализируются, то есть начинают «...обладать, кроме типового значения, индивидуальным лексическим значением, не вытекающим прямо из их словообразовательной структуры» [10, с. 105]. Таковы, например, кар.-балк. *адамча, жазычу*; кирг. *баалуу, окутуучу*, которые, помимо типовых значений: «как человек», «пишущий», «имеющий цену», «обучающий», выводимых из самих структур форм, имеют и индивидуальные лексические значения: «по-настоящему, как следует», «писатель», «ценный», «преподаватель». Некоторые из таких форм, сохраняя свое типовое значение, приобретают еще индивидуальное лексическое значение: ср. кар.-балк. *башлы* 1. 'имеющий голову', 2. 'сообразительный, умный'; *башсыз* 1. 'не имеющий головы', 2. 'несообразительный, неумный' и т. д. Первые, типовые, значения подобных слов выражаются самой их словообразовательной структурой. Причем эти словообразовательные формы чрезвычайно продук-

тивны и имеют одно типовое производное лексическое значение. Поэтому отражать их в словарях представляется нецелесообразным. Тем не менее в ряде словарей эти значения фиксируются, например: кирг. *баштуу 1*, туркм. *келлели 1* — 'имеющий голову', каз. *бассыз 1*, узб. *бош-сиз 1* — 'не имеющий головы'.

Многие производные лексемы становятся самостоятельными словами даже тогда, когда лексическое значение выводится из их словообразовательной структуры. Это происходит обычно в следующих случаях: 1) когда они обозначают профессию, занятие человека, его склонность, пристрастие и т. д. к чему-либо; например, кар.-балк. *темирчи* 'кузнец', кирг. *жылкычы* 'табунщик' — показывают профессию человека; кар.-балк. *жукчуу* 'соня', кирг. *калпычы* 'обманщик' — постоянную его привычку, кирг. *бозочу* 'бузовар', кар.-балк. *татлычы* 'сластена' — влечение, склонность и т. п.; 2) когда производное слово является термином, ср. кар.-балк. *кзыргыч* 'скребица', *тешич* 'зубило; пробойник'; тат. *кыстыргыч* 'зажим, скрепка, прищепка (для белья), тиски; клемма', *көчөйткеч 1* 'усилитель'.

Таким образом, при отборе регулярных производных форм слов в общие словари тюркских языков необходимо учитывать, какие из них лексикализировались; нелексикализованные же формы включать в словник не следует.

При отборе регулярных словообразовательных форм в тюркско-русские словари их составители обычно руководствовались словарем В. В. Радлова, в котором эти формы отражены без какого-либо ограничения. Известно, что В. В. Радлов включал в свой словарь все формы слов, зафиксированные в источниках, использовавшихся им при его составлении. Этой традиции следовали составители многих тюркско-русских словарей, созданных в 50—60-е годы. По свидетельству К. К. Юдахина, автора «Киргизско-русского словаря», при составлении первых словарей тюркских языков проблема отбора лексики по существу не ставилась, отбор производился произвольно [9, с. 3].

По сравнению с тюркско-русскими словарями в толковых словарях тюркских языков отбор регулярных словообразовательных форм производился более упорядоченно, в связи с чем количество их в этих словарях намного уменьшилось. Этому способствовало и то, что из названных форм слов лексикографы старались отбирать в составляемые ими словари только те, которые приобрели самостоятельное (прямое или косвенное) лексическое значение [14, с. 9; 15, с. 17—19; 19, с. 18—21; 20, с. 6—11]. Однако в существующих тюркских толковых словарях имеется еще много нелексикализованных форм слов, исключение которых, безусловно, способствовало бы улучшению практической значимости этих словарей. Присутствие подобных словоформ в этих словарях объясняется нижеследующим. Некоторые лексикографы при отборе нелексикализованных форм слов для тюркского толкового словаря, как и для словаря тюркско-русского, исходили из степени их активной употребительности. Так, например, по мнению авторов Руководства по составлению ТСУЯ, из форм существительных на *-чи*, *-лик*, *-овчи*, *-ча* и прилагательных на *-чан*, *-чил*, *-гин* в словарь должны включаться только те, которые имеют широкую употребительность [19, с. 17—18]. Этого же мнения придерживаются и составители Инструкции ТСКЯ¹ при решении вопроса об отборе форм имени на *-ч*, *-луу* [15, с. 18—19]. Однако критерий употребительности в данном случае никак нельзя считать обоснованным, ибо «...большинство регулярных словообразовательных форм как раз и характеризуется высокой употребительностью» [10, с. 103].

По сравнению с первыми грамматиками в новых грамматиках тюркских языков словообразование и образование грамматических форм более дифференцированы. Тем не менее в них многие нелексистализованные формы выдаются за самостоятельные слова: кар.-балк. *кёзлю* 'имеющий глаза', *юйсюз* 'бездомный' [12, с. 134—139]; каз. *күлді* 'зольный', *борансыз* 'безбуранный' [22, с. 185—190]; кирг. *аттуу* 'имеющий коня', *мендей* 'как я, с меня', *найзачан* 'вооруженный копьем, пикой' [16, с. 226—230]; тат. *сулы* 'с водой, имеющий воду', *судагы* 'находящийся в воде' [21, с. 161—165]; башк. *коршаулы* 'с обручем', *мауыгыусан* 'увлекающийся', *башмактай* 'с годовалую телку' [13, с. 172—175]. Неразличение лексикализованной и нелексистализованной форм слова отмечается даже в специальных исследованиях. Например, А. Ю. Бозиев считает, что в карачаево-балкарском языке нелексистализованные производные *кюрешиучю* 'борец', *кандидатлыкъ* 'кандидатство, степень кандидата' являются существительными, *сабийли* 'имеющий детей, с ребенком', *бузоусуз* 'не имеющий теленка, без теленка' — прилагательными, *кёушча* 'по-орлиному', *маллай* 'скотом' — наречиями [2, с. 14—53].

По мнению Э. В. Севортяна, образования типа азерб. *голтуглу* 'имеющий подлокотники', *гулаглы* 'с ушами, имеющий уши' — прилагательные [6, с. 56, 57], что представляется нам неубедительным.

В отдельных исследованиях встречаются случаи, когда одни и те же образования квалифицируются по-разному: то как отдельные слова, то как нелексистализованные формы слов. Например, М. А. Хабишев в своем исследовании по карачаево-балкарскому словообразованию такие аффиксальные образования, как *терезели* 'с окном, имеющий окно', *кёзсюз* 'без глаз, слепой', *эскича* 'по-старому', *акъыллыракъ* 'умнее' и т. п., считает самостоятельными словами [7, с. 244—259], а в последующей своей работе по формообразованию и словоизменению данного языка эти же единицы он относит к нелексистализованным формам слов [8, с. 17—28].

Приведенные факты свидетельствуют о том, что в тюркских языках словообразующая роль аффиксов исследована недостаточно. Это обстоятельство долгое время оказывало и продолжает оказывать отрицательное влияние на составление общих словарей тюркских языков.

Таким образом, при определении лексикализованности/нелексистализованности регулярных производных форм составители тюркско-русских и тюркских толковых словарей, с одной стороны, исходят из того, как этот вопрос должен разрешаться лингвистами, а с другой — руководствуются укоренившейся лексикографической традицией, восходящей к В. В. Радлову.

Сказанное выше показывает, что при отборе нелексистализованных форм слов в общие словари лексикографы руководствуются возможностью передачи их на русский язык лексическими единицами; то есть те формы, которые передаются на русский язык самостоятельными лексемами, ими регистрируются как заголовочные слова, а формы, не имеющие в русском языке своих аналогов, оставляются ими за пределами словаря. Определенную роль в этом вопросе играют, как это верно отметил А. А. Юлдашев, факты конвергенции и интерференции, связанные с двуязычием [10, с. 104].

Обратимся к конкретным случаям лексикализации производных форм слов.

Многие формы на *-лы* в тюркских языках стали самостоятельными лексическими единицами и на этом основании включаются в толковые словари, например: каз. *тузды* 'соленый', *адепті* 'вежливый'; кирг. *акыл-*

дуу 'умный', күчтүү 'сильный'; тат. барлы 'богатый', хөрмәтле 'уважаемый'; азерб. сүдлү 'молочный', дүшүнчәли 'умный, задумчивый' и др. Однако наряду с формами, ставшими самостоятельными лексическими единицами, в эти словари включаются сотни и тысячи регулярных словообразовательных форм с типовой структурой, значение которых легко выводится из производящей основы: каз. абажурлы 'имеющий абажур', itti 'имеющий собаку'; тат. аракылы 'имеющий водку', атлы 'имеющий коня'; узб. байроқли I. 'имеющий знамя'; койкали 'имеющий койку' и др.

В ряде толковых словарей помещаются образования на -лы с семантикой «содержащий в своем составе что-то и изобилующий чем-то»: тат. азотлы, каз. азотты, азерб. азотлу 'азотистый, азотный, содержащий азот', кар.-балк., тат. баллы, каз. балды 'сладкий, имеющий в своем составе мед', тат. балыклы, каз. балықты 'рыбный, изобилующий рыбой', кар.-балк. жыланлы 'изобилующий змеями', каз. аязды 'с частыми ветрами' и др. Подобные образования наряду с типовым значением отличаются и некоторым семантическим своеобразием. При учете этого включения их в словари представляется возможным, хотя они и не полностью удовлетворяют описанному выше принципу отбора регулярных производных форм.

Незначительным семантическим своеобразием отличаются и образования с этим же аффиксом, означающие «одетый во что-то», «вооруженный чем-то», представленные в ряде словарей: тат. каскалы 'одетый в каску, в каске', каз. айбалталы, 'вооруженный секирой', а также некоторые образования с этим же значением, но с другим аффиксом: каз. байпақшан 'в носках (чулках)', тат. күлмәкчән 'в одной рубашке, в одном платье, без верхней одежды' и др. Подобные слова употребляются крайне редко и поэтому их не стоит, видимо, вводить в общие словари. По традиции, идущей от первых русских толковых словарей, принято включать в тюркские общие словари все названия народов СССР и наиболее употребительные из названий народов зарубежных стран на -лы и -лар, а также безаффиксные, например: кар.-балк. малкъарлы 'балкарец', башк. азербайджанлы 'азербайджанец', туркм. өзбеклер 'узбеки' и др. Эта правильная, с нашей точки зрения, практика принята, однако, не во всех словарях. Некоторые словари, например ТСКЯ¹, вообще не включают в свой состав данные слова, в других же словарях в решении этого вопроса отсутствует последовательность. Так, например, в СТЯ включены такие названия народов СССР, как азербайджанлар 'азербайджанцы', аварлар 'аварцы' и другие, но нет в нем названий армянлар 'армяне', башкирлер 'башкиры' и т. д., в то же время здесь широко охвачены названия народов зарубежных стран: австралиялылар 'австралийцы', аргентиналылар 'аргентинцы' и многие другие.

Говоря о регулярных формах на -лы, следует остановиться и на следующем вопросе. Эквиваленты русских сложных прилагательных, образуемых по модели «числительное + прилагательное» («пятикилограммовый», «десятиградусный»), в тюркских языках обычно пишутся раздельно: ср. узб. беи килограмми 'пятикилограммовый', каз. екі валентті 'двухвалентный' и т. п. Некоторые лексикографы вторые части подобных словосочетаний включили в словари как самостоятельные лексические единицы: узб. томли '-томный', тат. граммы '-граммовый', каз. вольтті '-вольтовый' и др. Однако с этим трудно согласиться, ибо указанные части словосочетаний без первых компонентов — числительных — не обладают лексической самостоятельностью. В азербайджанском языке подобные единицы орфографически семантически объединяются, образуя сложные прилагательные (ср.: чоxtomлу 'многомот-

ный', *икуајаглы* 'двуногий' и т. п.), и справедливо включаются в общие словари.

По сравнению с рассмотренными формами в исследуемых словарях нелексикализованных форм на *-сыз* меньше. В некоторых из них (ТСКБЯ, ТСКЯ¹ и ТСБЯ) такие формы включаются лишь выборочно. Однако их крайне много в ТСУЯ, СТЯ и особенно в ТСКЯ²: узб. *анда-засиз* 'не имеющий меры, мерки', *жойсиз* I 'не имеющий дома'; туркм. *зэхэрсиз* 'не ядовитый, не содержащий яда', *агызсыз* I 'не имеющий рта'; каз. *азансыз* 'не имеющий муки, без муки', *азотсыз* 'не имеющий в своем составе азота' и др.

Во всех приведенных примерах аффикс *-сыз* придает исходной основе значение «не имеющий чего-либо», то есть он образует форму отсутствия. Эти формы не могут быть заголовочными словами в словарях, так как их семантика ограничивается только типовым значением, вытекающим из их словообразовательной структуры. Этого нельзя сказать о производных типа кар.-балк. *акъылсыз* 'глупый' (типовое знач. — 'без ума'), тат. *аергысыз* 'неразличимый' (типовое знач. — 'не имеющий различия') и других, которые осмысливаются как самостоятельные лексические единицы и на этом основании включаются в соответствующие словари.

Известно, что словообразовательные возможности аффикса *-сыз* ограничены определенным составом основ. Например, производные на *-сыз* не могут образовываться от глагольных имен, в которых, как известно, совмещаются свойства имени и глагола, а также от количественных числительных и прилагательных. «Фактически производные на *-сыз* могут образовываться лишь от имен, которые означают предметы и явления (грамматически представленные как предметы)» [6, с. 78]. На этом основании Э. В. Севортян считает, что данный аффикс образует не регулярные формы, а самостоятельные слова. Так, например, по его мнению, в азербайджанском языке производные формы *мејвэсиз* 'без плодов, бесплодный', *мејсиз* 'без вина', *мэзэсиз* 'без закуски' являются самостоятельными словами. Однако эти формы еще не подверглись лексикализации. В семантическом отношении они ничем не отличаются от приведенных выше нелексикализованных регулярных словообразовательных форм на *-сыз*.

В тюркских языках широко развито образование имен существительных от имен со значением имени действующего лица по названию предмета или наименованию профессии при помощи аффикса *-чы*. Если аффиксы *-лы* и *-сыз*, как мы уже видели, в основном образуют нелексикализованные формы слов, то с помощью данного аффикса в большинстве случаев образуются самостоятельные лексические единицы. Поэтому в анализируемых словарях нелексикализованные производные, созданные при помощи аффикса *-чы*, отражены значительно меньше, чем сходные производные на *-лы* и *-сыз*. Поэтому отбор производных имен на *-чы* для общего словаря не требует специального рассмотрения. Упорядочить следует только отбор новообразований, созданных при помощи этого аффикса путем калькирования русских слов. Наравне с активно употребляющимися всеми носителями языка образованиями типа кар.-балк. *колхозчу* 'колхозник', *тракторчу* 'тракторист', тат. *буфетчи* 'буфетчик' и многих других, лексическая самостоятельность которых не вызывает сомнения, в ряд толковых словарей включаются и образования, не получившие широкого распространения. К ним можно отнести такие производные формы, как каз. *аккумуляторшы* 'аккумуляторщик', *геодезияшы* 'геодезист'; узб. *крепостнойчи* 'крепостник',

группачи 'групповщик' и др. Эти и им подобные новообразования, употребляющиеся лишь в периодической печати, пока еще не используются не только в художественной литературе, но и в устной речи. Поэтому было бы желательно ограничиться их регистрацией только в терминологических словарях и включать их в общие словари по мере вхождения их в общелитературный язык.

Производные на *-чан* и *-гыч* по своей семантике близки к причастиям на *-ычуу* (см. ниже). Образования на *-чан* представлены как вокабулы только в ТСТЯ: *күптерүчән* 'вздувающий', *онытыучан* 'забывчивый', *масаючан* 'хвастливый, хвастающий' и др. Производные приведенного типа, хотя и употребительны, но еще не закрепились в языке как самостоятельные лексические единицы¹. Поэтому нет достаточных оснований для включения их в словарь.

Большинство тюркских толковых словарей охватывает производные на *-гыч* выборочно, то есть отбираются только те из них, которые функционируют в языке в качестве терминов и стали достоянием как общенационального, так и общелитературного языка. К ним относятся имена типа тат. *кыздыргыч* мед. 'нагреватель, прогреватель', *бетергеч* I. 'резинка (школьная)'; кар.-балк. *кергич* 'инструмент для растягивания кожи', *кесгич* 'резец'. Об освоенности данных терминов литературным языком свидетельствует тот факт, что за редким исключением в словарях они помещаются без помет, указывающих на их терминологичность. Однако в ряде словарей, например в ТСКЯ², имеется крайне много производных данного типа, являющихся явными искусственными образованиями, например: *айыптагыш* 'обвиняющий', *айныгыш* 'непостоянный (о человеке)', *алдагыш* 'обманщик, обманчивый' и т. п.

Нельзя считать упорядоченным и отбор для толковых словарей тюркских языков форм интенсива. Одни словари демонстрируют все его формы, то есть высокопродуктивные, малопродуктивные и непродуктивные, а другие (абсолютное большинство) — только непродуктивные. Высокопродуктивными обычно считаются формы интенсива на *-рак* и интенсива типа кар.-балк. *актырын-актырын* 'медленно'.

Форма интенсива на *-рак* в таких тюркских языках, как киргизский, карачаево-балкарский, казахский, татарский, башкирский, кумыкский, ногайский, образуется почти от каждого прилагательного и наречия. Этот аффикс, как правило, не создает самостоятельных слов с новым значением, он лишь усиливает или ослабляет качество или признак прилагательного или наречия. Поэтому данный тип интенсива не принято отражать в словарях. Исключение составляют такие образования, как башк. *бигерәк*, тат. *бигрек*, кар.-балк. *бегирек* 'слишком, чересчур, особенно; преимущественно, наиболее', кар.-балк. *артыгъыракъ* — с этим же значением. Лексическое значение этих единиц не совпадает со значением интенсива: ср. *бигрек* (от *бик* 'очень'), *артыгъыракъ* (от *артыкъ* 'лишний'). Поэтому совершенно правильно поступили составители ТСКБЯ, ТСТЯ и ТСБЯ, включив эти производные в состав словника. Наоборот, ничем не оправдывается включение в ТСКЯ² регулярно образуемых форм интенсива типа *ағырақ* 'белее', *ақылдырақ* 'умнее' и т. п. Таких форм в этом словаре тысячи.

В тюркских языках интенсив типа *актырын-актырын* также создается регулярно от любого прилагательного и наречия путем редупликации: кирг. *чоң-чоң* 'большой-пребольшой', туркм. *тиз-тиз* 'очень быстро',

¹ В этом вопросе трудно согласиться с А. М. Латыповым, считающим эти образования качественными прилагательными [4, с. 168—169].

тат. *тишек-тишек* 'дырявый' и т. п. Причем лишь некоторые из них подверглись лексикализации: кар.-балк., тат., азерб. *аз-аз* 'понемногу, малопомалу' (от *аз* 'мало, немного'); кар.-балк. *башха-башха* 'отдельно' (от *башха* 'другой, иной'), *терк-терк* 'часто' (от *терк* 'быстро') и другие, включенные в соответствующие словари. Однако в ряде словарей, особенно в ТСТЯ, СТЯ и ТСКЯ², имеется довольно много и регулярных форм типа туркм. *асса-асса* 'медленно-медленно', тат. *тиз-тиз* 'быстро-быстро', каз. *алыс-алыс* 'далекий-далекий' и др.

Форма интенсива типа кар.-балк. *кѣап-кѣара* 'черный-пречерный' в основном образуется только от прилагательных, обозначающих цвет предмета, которых в каждом из тюркских языков всего лишь несколько единиц. К тому же префиксальная морфема подобных образований «...носит индивидуальный характер — представляет собой повторение первого слога с добавлением согласного звука в соответствии с характером последующего согласного» [10, с. 176]. Поэтому, видимо, правильно поступают лексикографы, включающие этот тип интенсива в общие словари.

Что касается форм интенсива с другими малопродуктивными аффиксами типа туркм. *-(ы)мтыл* (*агымтыл* 'беловатый'), кирг. *-гыч* (*саргыч* 'желтоватый'), *-лжын* (*каралжын* 'черноватый, темноватый'), *-ултур* (*көгүлтур* 'синеватый, с просинью; голубоватый'), кар.-балк. *-гъыл*, *-гъылдым* (*къызгъыл*, *къызгъылдым* 'красноватый'), *-сыл*, *-сылдым* (*акъсыл*, *акъсылдым* 'беловатый'), тат. *-су* (*зәңгерсу* 'синеватый'), *-сел* (*күксел* 'голубоватый') и т. д., то они полностью охватываются общими словарями, что также представляется оправданным.

В большинстве тюркских языков регулярно образуются относительные формы на *-дагы*. Этот аффикс, присоединяясь к именам, указывает на местонахождение того, что выражается исходной основой. Образования на *-дагы* лишь в исключительных случаях обнаруживают лексикализацию, ср.: кар.-балк. *юйдеги* 'семья; муж; жена', тат. *көндәге* 'ежедневный', кирг. *мурдагы* 'прежний'. В связи с этим, по-видимому, неправильно поступают татарские, казахские и узбекские лексикографы, включая в словари родного языка нелексикализованные формы на *-дагы*: тат. *көнчыгыштагы* 'находящийся на востоке', каз. *арадагы* 'находящийся в (по) середине', узб. *тугрисидаги* 'находящийся напротив' и др.

В состав ТСУЯ и ТСКЯ² вошли также производные на *-симон* и *-сымақ*: узб. *хамирсимон* 'тестообразный', каз. *айгырсымақ* 'подобный жеребцу' и т. п. Эти формы попали в словари только в связи с возможностью их перевода на русский язык самостоятельными лексическими единицами.

Лексикализованные грамматические формы. В тюркских языках немало примеров лексикализации грамматических форм слов. При этом, сохраняя показатель грамматической категории, эти формы изолируются от своих производящих основ и переходят в другую часть речи. Это происходит в основном с падежными формами имен существительных, прилагательных, отчасти местоимений и числительных, а также и некоторыми формами множественного числа имен существительных, причастий и деепричастий. Остановимся подробнее на лексикализации каждой из названных грамматических форм в отдельности.

Падежные формы, лексикализуясь, становятся обычно наречиями: кар.-балк. *карексизге* (форма дат.-направит. пад.) 'зря, напрасно' (от *керексиз* 'ненужный'), *амалсыздан* (форма исх. пад.) 'поневоле' (от *амалсыз* 'безвыходный'); кирг. *башында* (форма мест. пад.) 'вначале'

(от *баш* 'голова; начало'), *мурунтан* (форма исх. пад.) 'издавна' (от *мурун* 'давно'). Подобных изолированных падежных форм в тюркских языках достаточно много и все они перешли в разряд наречий. Как видно из приведенных примеров, наречием становятся обычно формы пространственных падежей имен, обозначающих пространственные и временные отношения. Некоторые падежные формы имен существительных стали послелогоми, а числительных — вводными словами, например, кар.-балк. *алда* послелог 'перед' (от *ал* 'перед, передняя сторона чего-либо'), каз. *біріншіден* вводное слово (форма исх. пад.) 'во-первых' (от *бірінші* 'первый') и др. Как в тюркско-русских, так и в тюркских толковых словарях лексикализованные формы падежей отражаются полно. Однако наряду с ними в ряде толковых словарей на правах самостоятельных лексических единиц приводятся и некоторые нелексикализованные формы падежей: узб. *бир-бировига* 'друг другу', *бир-бировидан* 'друг от друга'; тат. *еракка* 'далеко', *ерактан* 'издалека, издали'; каз. *алғашқыда* 'вначале', *алғашқыдан* 'сначала'.

В форме множественного числа в словарях обычно помещаются существительные, или вовсе не имеющие единственного числа, или более употребительные во множественном числе. В подаче существительных, не имеющих единственного числа, нет каких-либо расхождений между толковыми словарями тюркских языков. Они все представляются в форме множественного числа; ср.: например, кар.-балк. *айырыула* 'выборы', *кесекле* 'грипп', *акъла* 'белогвардейцы'.

Требует пересмотра, с нашей точки зрения, подача в словарях названий национальных и этнических групп, а также родовых и видовых названий животного мира.

В подаче названий наций, племен, этноса, жителей стран и территорий имеется разноречие не только между разными тюркскими толковыми словарями, но и в пределах одного и того же словаря. Так, в ТСТЯ и ТСКЯ² они помещены в форме единственного числа (ср. тат. *азербайджан* 'азербайджанец', *америкалы* 'американец'; каз. *европалық* 'европеец'), в СТЯ — в форме множественного числа (*ажарлар* 'аджарцы', *бразилиялылар* 'бразильцы'), в ТСУЯ — в формах единственного и множественного числа (*белорус* и *белоруслар* 'белорусы'), причем вторая толкуется описательно, а первая — путем отсылки к понятию, названному формой множественного числа. В ТСКЯ¹ эти наименования вообще не приводятся. В решении вопроса о подаче существительных названной группы составители толковых словарей тюркских языков руководствовались аналогичными словарями русского языка, однако и в них отсутствует единый принцип подачи национальных и этнических наименований. Так, например, в словаре С. И. Ожегова (1973) и в «Словаре современного русского литературного языка» [11] они приводятся в форме множественного числа, но в отличие от первого из этих словарей во втором в скобках указывается и форма единственного числа мужского и женского рода (например, *армяне* мн.; ед. *армянин, армянка*). В «Словаре русского языка» [18] формы единственного (мужского и женского рода) и множественного числа составили самостоятельные статьи, хотя описательное толкование дается только во второй. При этом рядом с формой множественного числа в скобках еще раз приводится форма единственного числа мужского и женского рода [например, *аджарец*, см. *аджарцы*; *аджарка*, см. *аджарцы*; *аджарцы* мн. (ед. *аджарец, аджарка*)]. Поскольку описываемые наименования в русском языке употребляются преимущественно в форме множественного числа, наиболее приемлемым для толковых словарей русского языка

ка представляется способ подачи в словаре [11]. В словарях же тюркских языков, по-видимому, было бы целесообразно подавать эти наименования в форме единственного числа, так как в тюркских языках они употребляются обычно в этом числе.

В словарях тюркских языков нет единства и в подаче родовых и видовых названий животного мира. В тюркские языки эти наименования вошли путем калькирования из русского языка, а в некоторых из них (например, в карачаево-балкарском языке) они еще не стали общими. В тех тюркских языках, в которых терминология разработана хорошо (например, в татарском, узбекском, казахском, туркменском и др.), названные наименования давно уже стали нормой. Однако вопрос о том, как их подавать в словарях — в форме единственного или множественного числа, — до сих пор не разрешен. Поэтому в одних словарях эти единицы помещаются в форме единственного числа, а в других — в форме множественного числа, ср.: туркм. *сүйренижилер* 'пресмыкающиеся', узб. *кемирувчилар* 'грызуны', кирг. *кемируучу* 'грызун'. Подобные расхождения наблюдаются не только между словарями, но и внутри них, ср.: туркм. *сүйренижилер* 'пресмыкающиеся' и *гемирижи* 'грызун'; тат. *имезүчеләр* 'млекопитающие' и *кимерүче* 'грызун'. Видимо, такой разницей в тюркских словарях объясняется влиянием толковых словарей русского языка, в которых также отсутствует последовательность в словарной подаче подобных наименований. В них, как уже отмечалось, существительные, употребляющиеся преимущественно во множественном числе (но имеющие и единственное число), приводятся в заголовке в форме этого числа [11, с. 14; 18, с. 11; 5, с. 15]. Однако в решении вопроса о том, в каком числе обобщенно-родовые названия животных более употребительны, словари русского языка расходятся. Так, в упомянутых выше словарях [11; 18] указанные названия помещены в форме множественного числа, исключение составляет только слово «грызун» во втором из них [18]. В словаре же С. И. Ожегова [5] одни названия даны в форме единственного числа (*грызун, млекопитающее, моллюск, земноводный, сумчатый, пернатый*), а другие — в форме множественного числа (*парнокопытные, пресмыкающиеся, ракообразные, членистоногие*).

Судя по иллюстративным примерам, приведенным в толковых словарях русского языка на эти названия, они более употребительны во множественном числе. Поэтому представляется, что составители словарей [11; 18] правильно поступили, поместив их в заголовке в форме множественного числа, указав рядом в скобках и форму единственного числа, которую они тоже имеют. Составителям толковых словарей тюркских языков в данном случае, видимо, целесообразно ориентироваться не на словарь С. И. Ожегова [5], а на академические толковые словари русского языка.

Некоторые толковые словари, такие, как ТСУЯ, ТСТЯ и ТСКЯ¹, выделили в самостоятельные словарные статьи отдельные формы принадлежности, например: узб. *меники* 'мой', *бизники* 'наш', *сеники* 'твой', *сизники* 'ваш'; тат. *минеке* 'мой', *аныки* 'его, ее, принадлежащий ему, ей', *үзенеке* 'свой, своя, своё', *анасы-атасы* 'его, ее отец и мать', *картыяше* 'принадлежащие кому-, чему-либо'; каз. *алганы* 'его жена, та, на которой он женат'. Эти примеры свидетельствуют о том, что в одном и том же словаре в регистрации форм принадлежности как самостоятельных словарных единиц отсутствует система. В ТСУЯ форма принадлежности 1-го и 2-го лица единственного и множественного числа регистрируется, а форма принадлежности 3-го лица единственного числа —

уныкы 'его, ее, принадлежащий ему, ей' и 3-го лица множественного числа — уларныкы 'их, принадлежащий им' — не регистрируется. В ТСТЯ форма принадлежности 1-го и 3-го лица единственного числа включена, однако отсутствует форма принадлежности 2-го лица единственного числа — синеке 'твой'. Другие тюркские толковые словари не включают в свой состав приведенные грамматические формы. И это, с нашей точки зрения, совершенно правомерно.

В тюркских языках многие причастия субстантивировались, пополнив лексику, ср.: башк. *юлбасар* 'разбойник', *укытыусы* 'учитель'; кар.-балк. *ашарыкъ* 'пища', *къайнар* 'кипяченный' и др. Особое место занимают причастия настоящего времени на *-ыучу*: они субстантивируются чаще других причастных форм. При полной утрате глагольных свойств субстантивированные причастия настоящего времени переходят в разряд имен существительных со значением имени действующего лица, например: кар.-балк. *окуучу* 'ученик', *жазыучу* 'писатель'; башк. *укытыусы* 'учитель', *хатыусы* 'продавец' и др. В образовании перечисленных и аналогичных им существительных большую роль сыграло развитие русско-тюркского двуязычия.

Вопрос об отборе для филологических словарей тюркских языков причастий настоящего времени, перешедших в разряд имен существительных, продолжает оставаться актуальным. Дело в том, что этот отбор во многих случаях осуществляется произвольно, без учета лексикализации данной формы причастия. Между тем учет лексикализации причастий на *-ыучу* совершенно необходим, так как при помощи этого аффикса свободно образуется причастие от любого глагола, однако лексическую самостоятельность приобретают лишь некоторые из них. В результате недостаточного учета лексикализации словники некоторых тюркских толковых словарей, а именно ТСКЯ¹, ТСТЯ и в особенности ТСКЯ², перегружены причастиями на *-ыучу*: кирг. *жеңүүчү* 'побеждающий', тат. *версткалаучы* 'верстальщик', каз. *айдаушы* 'погонщик', *айтушы* 'говорящий' и т. п. Подобных причастий исключительно много включено в УРС, ТРС и КРС [17]. По всей вероятности, при их отборе учитывалась возможность перевода их на русский язык отдельными словами. Как видно из приведенных примеров, практика составления тюркско-русских словарей оказала влияние и на составление толковых словарей тюркских языков. Следует в то же время отметить, что многие причастия на *-ыучу*, включенные в тюркско-русские словари, остались за пределами толковых словарей тюркских языков.

Субстантивированное причастие на *-ыучу* параллельно со значением существительного сохраняет и свое значение причастия, ср.: кар.-балк. *жазыучу* 'писатель' и 'пишущий' (*письмо жазыучу* 'пишущий письмо'), кирг. *окуучу* 'ученик' и 'читающий' (*китеп окуучу* 'читающий книгу') и т. п. Совершенно очевидно, что значения этих причастий не должны приводиться в словарях. Однако ряд словарей этого не учитывает. Так, например, в ТСКЯ¹ даны значения причастий *айыптоочу* I 'обвиняющий', *бөлүнүүчү* I 'делимый, подлежащий делению'.

По сравнению с причастиями настоящего времени причастия прошедшего и будущего времени лексикализуются редко, при этом они могут переходить как в существительные, так и в прилагательные, например: кар.-балк. *туурагъан* 'ломоть' (от *туурагъан* 'резавший, рубивший'), кирг. *жараткан* 'создатель, творец (эпитет бога)' (от *жараткан* 'создавший, творивший') и др. В некоторых грамматиках тюркских языков контекстуальное употребление причастия в значении прилагательного оценивается как полный переход его в разряд имен прилага-

тельных. Так, например, причастия *эсеген*, *кайнаган*, *бешмәген* в сочетаниях означают: *эсеген һәт* 'кислое молоко', *кайнаган һыу* 'кипяченая вода', *бешмәген алма* 'неспелое яблоко' [13], а причастия *кәчар*, *ёлюр* в сочетаниях имеют значения: *кәчар кызы* 'зрелая девушка', *ёлюр ауруу* 'смертельная болезнь' [12]. Эти причастия приведены как прилагательные, так как в данном контексте они утрачивают грамматические свойства глагола и выражают постоянные признаки предмета и лица, сближаясь с прилагательными. Однако все это присуще приведенным причастиям лишь в тех случаях, когда они употребляются с именами существительными. Поэтому они являются не самостоятельными, а лишь контекстуальными прилагательными.

Перевод многих причастий прошедшего и будущего времени на русский язык как прилагательных, с одной стороны, и неправильная их квалификация в грамматиках — с другой, видимо, и послужили причиной включения следующих аналогичных им причастий в ТСУЯ и ТСТЯ на правах самостоятельных лексических единиц: узб. *келишган* 'красивый, стройный, статный', *еңилмас* 'непобедимый'; тат. *тегелмәген* 'неотделанный', *онытлмас* 'незабываемый'.

Следует отметить, что парные причастия чаще, нежели простые, лексикализуются, переходя обычно в разряд имен существительных с собирательным значением, ср.: кар.-балк. *ётген-сётген* 'всякий, прохожий', *кәлгәган-кәулгәган* 'разные остатки, объедки'; тат. *калган-поскан* 'крохи, остатки, отходы', *туган-тумача* 'родственники, родня, родичи' и т. п.

Деепричастие — очень редко лексикализующаяся грамматическая категория; ср.: кар.-балк. *биле-биле* 'заметно, ощутимо' (от *биле* 'зная'), кирг. *аябай* 'очень, весьма, много' (от *аябай* 'не щадя, не жалея'). Однако некоторые толковые словари тюркских языков, например, ТСКЯ², ТСТЯ, СГЯ, включили отдельными статьями многие нелексикализованные деепричастные формы на *-п* и *-а*: каз. *анықтап* 'точно выяснив, определив, уточнив', *барып-келип* 'посетив'; тат. *бантлап* 'украшив бантом', *калжалап* 'разделив на куски (мясо)'; туркм. *горка-горка* 'боязливо, робко, с опаской', *сагына-сагына* 'мешкая, медленно' и многие другие. В действительности же эти деепричастия ничем не отличаются от тех, которые не вошли в указанные словари. В регистрации деепричастий ТСУЯ пошел еще дальше, выделив их форму на *-б* в самостоятельные словарные статьи, ср.: *булиб* 'разделив', *боплаб I* 'выполняя, исполняя (что-либо) как следует', *авайлаб* 'бережно, осторожно' и т. п.

ЛИТЕРАТУРА

1. В. П. Берков. Вопросы двуязычной лексикографии. Л., 1973.
2. А. Ю. Бозиев. Словообразование имен существительных, прилагательных и наречий в карачаево-балкарском языке. Нальчик, 1965.
3. Е. А. Земская. Производные слова в толковых словарях русского языка. — «Современная русская лексикография». Л., 1977.
4. А. М. Латыпов. Имя прилагательное. — «Современный татарский литературный язык». М., 1969.
5. С. И. Ожегов. Словарь русского языка. М., 1973.
6. Э. В. Севортян. Аффиксы именного словообразования в азербайджанском языке. М., 1966.
7. М. А. Хабицев. Карачаево-балкарское именное словообразование. Черкесск, 1971.
8. М. А. Хабицев. Карачаево-балкарское именное формообразование и словоизменение. Черкесск, 1977.
9. К. К. Юдахин. Киргизско-русский словарь. М., 1940.

10. А. А. Юлдашев. Принципы составления тюркско-русских словарей. М., 1972.
11. «Словарь современного русского литературного языка» в 17-ти томах, т. I, А—Б. М.—Л., 1948.
12. «Грамматика карачаево-балкарского языка», Нальчик, 1976.
13. «Грамматика современного башкирского литературного языка», М., 1981.
14. «Хәзерге татар әдеби теленең аңлатмалы сүзлеген төзөү инструкциясе» («Инструкция для составления толкового словаря современного татарского языка»), Казан, 1964.
15. «Эки томдук „Кыргыз тилинин түшүндүрмө сөздүгүн“ түзүү үчүн инструкция» («Инструкция для составления двухтомного „Толкового словаря киргизского языка“»), Фрунзе, 1964.
16. «Кыргыз адабий тилинин грамматикасы» («Грамматика киргизского литературного языка»), I бөлүм. Фонетика жана морфология. Фрунзе, 1980.
17. «Киргизско-русский словарь», М., 1965.
18. «Словарь русского языка» в 4-х томах. М., 1957—1961.
19. «Ўзбек тилининг изоҳли лугатини тузиш учун кулланма» («Руководство для составления толкового словаря узбекского языка»), Тошкент, 1964.
20. «„Башкорт теленең аңлатма һүзлеген“ төзөү өсөн кулланма» («Руководство для составления „Толкового словаря башкирского языка“»), Өфө, 1966.
21. «Современный татарский литературный язык», М., 1969.
22. «Современный казахский язык», Алма-Ата, 1962.

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

- СТЯ — «Түркмен дилиниң сөзлүги» («Словарь туркменского языка»), Ашгабат, 1962.
- ТСАЯ — «Азәрбајҹан дилинин изаһлы лугәти» («Толковый словарь азербайджанского языка»), Баку, I т., 1966; II т., 1980.
- ТРС — «Татарско-русский словарь», М., 1966.
- ТСБЯ — «Башкорт теленең аңлатма һүзлеге» («Толковый словарь башкирского языка»). Рукопись.
- ТСКБЯ — «Қъарачай-малкъар тилни анғылатма сёзлюго» («Толковый словарь карачаево-балкарского языка»). Рукопись.
- ТСКЯ¹ — «Кыргыз тилинин түшүндүрмө сөздүгү» («Толковый словарь киргизского языка»), Фрунзе, 1969.
- ТСКЯ² — «Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі» («Толковый словарь казахского языка»), Алматы. I т., 1974; II т., 1976; III т., 1978; IV т., 1979; V т., 1980; VI т., 1982; VII т., 1983.
- ТСТЯ — «Татар теленең аңлатмалы сүзлеге» («Толковый словарь татарского языка»), Казан, 1977—1981.
- ТСУЯ — «Ўзбек тилининг изоҳли лугати» («Толковый словарь узбекского языка»), I, II, М., 1981.
- УРС — «Узбекско-русский словарь», М., 1959.

Э. Г. АЗЕРБАЕВ

О СВЯЗИ МЕСТОИМЕНИЙ В ЯПОНСКОМ И ТЮРКСКИХ ЯЗЫКАХ

Известно, что класс местоимений входит в разряд слов, близость или совпадение которых в сравниваемых языках может служить одним из веских аргументов, говорящих в пользу их генетического родства [1, стр. 39]. Настоящая работа посвящена исследованию, на основании поиска с использованием ЭВМ [2], именно этого класса слов.

Фонемный ряд: 1; протофонема: *А

ДЯ (древн. япон.) А '1) (вон) то; 2) он, она'; азерб. О 'он, она, оно; тот, та, то'; гаг. О '1) (личн.) он; она; оно; 2) (указ.) тот, та, то'; др.-тюрк. (сюда входит вся лексика древнетюркских памятников, зафиксированная в «Древнетюркском словаре», кроме древнейших тюркских рунических памятников — ТРП) О '1) тот; 2) он; 3) (в значении предикативного члена)'; казах. О 'тот'; караим. Т Г А — '(только в формах косвенного падежа) он, тот'; К О 'тот'; карак. О 'он, тот'; карач.-балк. О 'тот, та, то'; кирг. А 'он, тот'; крым.-тат. О 'тот'; куманд. А '(мест.) он, она, оно', О 'он, тот'; кумык. О '(мест.) 1) (личн.) он; она; оно; 2) (указ.) тот; та, то'; лобн. О '(мест.) 1) сн, она, оно; 2) этот'; ног. О '(мест.) 1) (личн.) он, она, оно; 2) (указ.) тот, та, то'; осм. О 'тот'; пол. А—ЛАР 'они'; О 'он, тот'; сал. О 'тот, та'; сар.-юг. О, У 'тот'; ст.-кыпч. А—НЫН 'его'; ст.-осм. О 'тот'; туба О 'он'; турецк. О '1) он, она, оно; 2) такой, такая, такое'; туркм. О '(мест.) 1) (личн.) он, она, оно; 2) (указ.) тот, та, то'; уйг. О '(мест.) 1) он, она, оно; 2) тот, та, то'; ферг. У '1) (личн. и указ. мест.) он, тот'; хам. О, У 'этот, он'; хот. А 'вот, вон'.

Говоря о происхождении местоимений в японском языке, М. Киэда отмечает, что их первоначальными формами являются *а*, *ка*, *ко* (точнее *кō*. — Э. А.), *со* (точнее *sō*. — Э. А.), ранее самостоятельно употреблявшиеся в своей первоначальной форме, однако в настоящее время такое употребление почти не встречается, а существует лишь в соединениях с *рэ* и *но* (точнее *nō*. — Э. А.), и только личное местоимение *ва*, помимо *рэ*, встречается в соединении со служебным словом *га* в выражении *вага кун* 'наша страна', *вага кими* 'наш государь' [27, I, стр. 97—101] (см. далее *А—R(I), *KU, *PA, *PA—N(U), *SU, *SU—R(I)).

Относительно этимологии местоимения в тюркских языках существуют различные точки зрения. В частности, А. Самойлович считал, что «все указательные местоимения имеют то общее отличие в склонении, что перед всеми падежными приставками у них появляется звук *н*, возникший по аналогии с местоимениями личными 1 и 2 лица единственного числа; в последних звук *н* является конечным звуком основы... Если основа указательного местоимения оканчивается на согласный, то этот

согласный заменяется звуком *н*» [28, стр. 44]. Н. Дыренкова, касаясь склонения лично-указательных местоимений в алтайском языке, отмечала, что «склонение указательных местоимений обнаруживает замечательные отклонения от общих норм, так как склонение их происходит от основы, не совпадающей с именительным падежом. Именительный падеж указательного местоимения „тот” — *ол*, склоняется же основа *о~он~ан*» [29, стр. 94—95]. Довольно подробно останавливается на этимологии указанного местоимения В. Котвич, точка зрения которого представляет несомненный интерес в связи с приведением нами данных древнеяпонского языка. Он пишет следующее: «Любопытное явление представляет собой присоединение *†* к концу основных указательных местоимений... Все исследователи единодушно утверждают, что это *†* — элемент факультативный, появляющийся чаще всего в местоимении *ол* (оно лишь в южных диалектах представлено в виде *о*), и что он совсем не оказывает влияния на значение самих местоимений. В настоящее время такое положение вещей вполне нормально. Рассмотрение вопроса с исторической точки зрения заставляет, однако, предполагать, что это *†* играло какую-то специальную роль; впрочем, отсутствие данных не позволяет установить, какую именно. В настоящее время можно с уверенностью сказать лишь то, что *†* было утвердительным элементом; на это указывает прежде всего то, что в монгольских, а отчасти также в тюркских языках имеется утвердительная частица *la*, или ее сокращенная форма *l*. (...) Местоимение „тот” в тюркских языках имеет варианты *о*, *ол*, *ул* совершенно для нас понятные, поскольку чередование *о//и* широко распространено во всей алтайской области. Однако в новейшей работе, посвященной киргизскому языку, отмечается еще существование варианта *ал*. (при более редком *а*), который, кажется, не был известен предшествующим исследователям. Батманов дает *ал* как единственное местоимение 3 лица, указывая при этом, что оно употребляется также в качестве указательного местоимения „этот”... С другой стороны, в словаре Юдахина приводится *ол* ‘он, этот’, правда, без комментариев и примеров, между тем как вариант *ал* (*а*) с тем же значением ‘он’ иллюстрируется целым рядом примеров, почерпнутых, насколько можно по ним судить, из разговорной речи и потому имеющих несомненную ценность. Юдахин сближает вариант *ал* (*а*) с формами склонения *анп*, *ауа* (*ā*), *ауан*, *ані*, *анда*, *андан*. Эти формы нам хорошо известны как спрягаемая группа местоимения *ол*, выступающая параллельно другой группе с гласным *о*. Происхождение двойных форм склонения местоимения *о*, *ол* оставалось до сих пор неясным. Если группу с *о* можно было рассматривать как нормальное склонение, то группа с *а* наводила на мысль о местоимении, которое имело в своем составе тот же гласный звук, но само давно уже утратилось» [30, стр. 143—144].

Довольно подробная библиография и анализ работ, посвященных этимологии данного местоимения, приводятся в работе Э. Севортяна [31, I, стр. 444—446], отмечавшего что «алтайско-тувинские древнетюркские данные позволяют также допустить исторически две разные фазы, в ранней из которых господствует во всех падежах *-*н*, в более поздней фазе — *-л* в исходной форме и *-н* в остальных падежных показателях. Согласный в рассматриваемом местоимении скорее вторичный, корнем же местоимения следовало считать гласный» [31, I, стр. 445].

Данные древнеяпонского языка полностью подтверждают точку зрения Э. Севортяна о первичности корня, состоящего из одного гласного, причем в форме с гласным *а*, высказанную, в частности, В. Котви-

чем. Что касается вторичных форм с согласными *l* и *n*, то первая из них отмечена в древнеяпонском языке в свободной форме *are* с тем же значением, что и *a* (см. *A—(R)I). Свободные формы с согласным *n* в древнеяпонском языке не зафиксированы. В форме *ano* отмечено в период Хэйан (794—1192 гг. н. э.) [32, стр. 42] (см. *A—N(U)).

Большой интерес представляет также алтайская реконструкция В. Иллич-Свитыча [без учета данных (древне)японского языка], которая оказывается тождественной реконструкции, полученной для древнеяпонского и тюркских языков с помощью ЭВМ, и представляется в форме: *a*- 'тот' [33, I, стр. 258].

См. также *A—N(A), *A—N(A)—TA.

Фонемные ряды: 1—9(—1); протофонемы: *A—N(A).

Ст.-япон. A—NO 'вон тот'; казан. A-НА '1) тот, оный; 2) там, смотри там'; казах. A-НА '1) (вон) тот, оный; 2) (вон) там'; A-НА-У, -A-НА+ҒЫ 'тот, та, то'; башк. A-НА 'вот, вон'; караим. К A-НА-ВУ, A-НА-ВЫ 'тот'; карак. A-НА '(указ. мест.) тот, та, то'; кирг. A-НА 'вон; вон тот'; кумык. О-НА '(мест. указ.) вон, тот'; ног. A—НА(-В) '(мест. указ.) тот, та, то'; туркм. A—НА '1) (мест. указ.) вон; 2) (частица) вот'; узб. A—НА '1) (мест. указ.) вон, вот; 2) (частица) вон, вот'; уйг. A-НА 'вот, вон там; видишь ли'; хак. A—НА '(мест. указ.) вот, вон'; чув. У-Н '(местный притяжательный падеж от вал) 1) у него, у нее; 2) его, ее'.

Ст.-япон. *no* ← *nō*: «суффикс родительного падежа; входит также в состав ряда указательных местоимений в определительной форме» [44, стр. 165]. Генетически тесно связан с ДЯ *-на* [27, II, стр. 259], который в памятниках встречается редко, но сохранился внутри сложных слов: Танагокоро 'ладонь' (букв. 'сердце руки'); минаками 'верховье' (букв. 'верх воды'); минасоко 'дно' (реки, озера и т. п.; букв. 'дно воды'); минато 'порт' (букв. 'ворота воды'); манако 'зрачок' (букв. 'дитя глаза'). Относительно этих слов д-р Ямада говорит: «Можно высказать предположение, что *на* имеет тот же источник происхождения, что и рюкюское *ну*, и что из него развилось также современное *но*, а назализованное *га* является, видимо, результатом превращения *на* в гортанный звук. Если это так, то можно предположительно построить следующую систему:

на — древнеяпонское *на*; *ηа* — современное японское *га*, *пи* — древнеяпонское и рюкюское *ну*; *по* — современное японское *но*.

Причина моего предположения об одинаковом источнике происхождения *га* и *но* заключается в их связи с местоимениями. А именно, как видно из ряда *waηа*, *паηа*, *таηа* и *копо*, *сопо*, создается впечатление, что в результате смягчения гласного звука в одном случае образуется *га*, а в другом *но*. Таким образом, только когда появилось расхождение в форме и употреблении *га* и *но*, обозначилась и их смысловая дифференциация, а вследствие смысловой дифференциации углублялось расхождение в употреблении, и в результате такого взаимного влияния причины и следствия это явление и дошло до наших дней» [27, I, стр. 532].

Из вышеприведенных аффиксов наибольшее распространение получил *nō* [44, стр. 96—98], который в IX веке н. э. трансформировался в *но* и сохранился до наших дней как суффикс родительного падежа. Частотность же аффикса *на* по сравнению с *nō*→*но* крайне низка, и в свободных словосочетаниях этот аффикс не употреблялся уже в древнеяпонском языке [44, стр. 101—102]. Что касается последнего аффикса *га*, то он впоследствии окончательно теряет свою функцию родительного (при-

тяжательного) падежа, трансформировавшись в суффикс именительного падежа [44, стр. 98—100], и лишь в небольшом числе словосочетаний сохранил свое прежнее значение родительного (притяжательного) падежа (см. *А).

На основе сравнения вышеприведенных японских и тюркских указательных местоимений можно высказать предположение о том, что в тюркских словоформах сохранились следы исчезнувшего в тюркских языках суффикса родительного (притяжательного) падежа в форме *na*. Однако здесь возможна и другая гипотеза, высказанная Ф. Исхаковым и связанная с параллельным рядом местоимений с конечным *n* вместо *l* (см. *А—N(A)—TA). Данные древнеяпонского языка в какой-то степени подтверждают эту гипотезу Ф. Исхакова, поскольку в древнеяпонском языке для личного местоимения 1-го лица зафиксированы две формы: с *n* и без него, а именно: *wa* и *wani* 'я'.

Возникает, естественно, вопрос: «Чему же соответствует *n* в тюркских словоформах?» Либо он восходит к омертвевшему суффиксу родительного (притяжательного) падежа *na*, либо к параллельному ряду местоимений с данным согласным. По нашему мнению, обе гипотезы имеют право на существование, хотя, по мнению автора данной работы, гипотеза Ф. Исхакова, особенно в свете данных, исследуемых ниже (см. *А—N(A)—TA), представляется более обоснованной.

Фонемные ряды: 1—9(—1)—8(—1); протофонемы: *А—N(A)—ТА
ДЯ А—NA—ТА '1) (вон) там; 2) противоположная сторона; 3) в последующие периоды перешло в значение «вы»; ТРП (О—Е) А—N—DA, А—N—ТА 'там, тогда'; азерб. О—Н—ДА '1) тогда, в таком случае; 2) у него, у нее, у того, у той'; алт. А—Н—ДА '1) там; 2) туда'; бараб. А—Н—ДА 'там'; башк. У—Н—ДА 'там'; гаг. О—Н—ДА 'местный падеж от о'; дём. А—Н—ТА, др.-тюрк. А—N—DA, казан., казах., караим. Т. Г. К, карак., карач.-балк., кирг., крым.-тат., куманд., куманск., леб., ног., пол., саг. А—Н—ДА, сал. А—N—DA, А—N—ТА, А—N—ТЕ 'там'; ст.-кыпч. А—Н—ДА 'там, у него'; тар.: см. казан.; тат. А—Н—ДА '1) там; 2) туда'; тоб.: см. казан.; туба А—Н—ТА, тув. диал. А—Н—ДА, турецк. диал. А—N—DA, узб. А—Н—ДА 'там'; уйг. А—Н—ДА '1) там; 2) в таком случае'; хак., чаг., шорск. А—Н—ДА 'там'; КК А—N—DA 'там'; ЛСТ А—Н—ДА 'там; тогда; оттуда'; ХШ А—Н—ДА 'там; тогда; у него'.

В древнеяпонской словоформе конечный элемент *-ta* представляет собой суффикс, обозначающий место, направление действия [3, стр. 482]. В тюркских языках конечный элемент *-ta/-da* также представляет собой суффикс, обозначающий: 1) место пребывания, 2) время совершения, 3) место исхода действия [7, стр. 664]. Касаясь происхождения вышеприведенных примеров из тюркских языков, Ф. Исхаков отмечает следующее: «Указательно-субстантивные местоимения, употребляемые в локальных падежах (дательном-направительном, исходном и местном), выступают как обстоятельства, а употребляемые в местном и исходном падежах перешли даже в наречия. Например, бунда, мунда, бында, мында, монда, манна, кунта (т. е. форма местного падежа указательного местоимения „то“) во всех тюркских языках понимается как „там“ и „туда“ и т. д.» [45, стр. 259]. При этом авторы грамматик соответствующих тюркских языков отмечают появление наращения *n* во всех косвенных падежах для указанных местоимений, а именно: в азербайджанском [46, стр. 79, 80, 83], алтайском [29, стр. 95], башкирском [47, стр. 154, 155], гагаузском [48, стр. 127], ТРП [49, стр. 166], казахском [50, стр. 230], караимском [51, стр. 41—42], каракалпакском [52, стр. 307], киргизском [10, стр. 42; 53, стр. 493], крымско-татарском [28, стр. 16; 54, стр. 244].

кумандинском [11, стр. 91, 95], ногайском [55, стр. 287], половецком [15, стр. 359], саларском [16, стр. 25, 26], сарыг-югурском [17, стр. 174—175; 56, стр. 76—78], староосманском [42, стр. 51], старокыпчакском [18, стр. 175—176], татарском [57, стр. 145], тофаларском [58, стр. 256], туба [19, стр. 65, 68], тувинском [59, стр. 216, 232], турецком [60, стр. 60, 95], туркменском [61, стр. 100], узбекском [62, стр. 174, 179], (ново)уйгурском [45, стр. 226, 251], хакасском [63, стр. 146, 150], чувашском [64, стр. 30], чулымско-тюркском [65, стр. 451], шорском [66, стр. 473—474]. Это позволило Ф. Исхакову высказать следующее предположение: «...следует сказать, что в качестве личных местоимений 3-го л. ед. и мн. ч. используются во всех тюркских языках, за исключением лишь якутского, указательные местоимения. ...из этих местоимений может быть установлен следующий ряд параллелей: *ал//ол (о)//ул (у) (вэл)*. В качестве личных местоимений 3-го л. мн. ч. используются эти же слова, поставленные во множественном числе путем прибавления аффикса множественности, при котором конечное *л* основы почти во всех современных тюркских языках выпадает, за исключением турецкого и азербайджанского, в которых местоимение 3-го л. ед. ч. употребляется без конечного *л* в виде *о*, а в форме множественного числа появляется перед аффиксом множественности согласный *н*, который, как мы увидим ниже, появляется также и в других языках, но обычно только перед падежными аффиксами вместо конечного *л* основы, что дает основание к постановке вопроса: **не существовал ли когда-либо еще один параллельный ряд вариантов местоимений *ал//ол//ул* с конечным *н* вместо *л*, т. е. *ан//он//ун* и даже *ын...*** В итоге сказанного ряд параллелей 3-го л. можно установить предположительно в следующем виде: *ал-ан//ол-он//ул-ун//ын-ин*» [45, стр. 212—214].

Аналогичное предположение можно высказать также относительно древнеяпонских форм лично-указательного местоимения с наращением *г* и *п* [относительно первого наращения см. *A—R(I)], причем последняя форма в чистом виде без аффиксальной морфемы *-ta* в памятниках древнеяпонской письменности не зафиксирована (она отмечена в старояпонском языке; см. ниже ссылку), но встречается в ряде современных тюркских языков, как, например, казахском, киргизском в форме *ана*, тождественной реконструируемой японской праформе с тем же значением «вон тот» [см. *A—N(A)].

Фонемные ряды: 1—6(—2); протофонемы: *A—R(I)

ДЯ A-RE 'тот; он'; ТРП (O—E) O-L 'этот, он'; алт. O-Л '1) тот, та, то [указывает на дальше отстоящее в противоположность к ближестоящему бу(пу)]; 2) он, она, оно (вместо личного местоимения 3 л.)'; бараб. O-Л 'он'; А-ЛАР 'они'; башк. У-Л '1) он, она, оно; 2) тот, та, то'; др.-тюрк. O-L 'он; тот'; казан. У-Л '1) тот; 2) он, она, оно'; казах. O-Л '1) он, она, оно; 2) тот'; караим. Т Г. O-Л '1) он, она, оно; 2) тот'; карак. O-Л 'он; тот'; карач.-балк. O-Л '1) он, она, оно; 2) тот, та, то'; кирг. А-Л 'он, тот'; куманд. O-Л 'тот, он, она'; кумык. O-Л '(мест.) 1) (личн.) он, она, оно; 2) (указ.) тот, та, то'; кюэр., леб.: см. алт.; ног. O-Л '(мест.) 1) (личн.) он, она, оно; 2) (указ.) тот, та, то'; пол. O-Л 'он, тот'; саг.: см. алт.; сал. O-L 'он, она'; сар.-юг. O-Л 'он, тот'; тар.: см. алт.; тат. У-Л '1) (мест. личн.) он, она, оно; 2) (мест. указ.) тот, та, то'; тел.: см. алт.; тоб. У-Л '1) тот; 2) он, она, оно'; тоф. O-L 'тот, та то; он (о незнакомом человеке)'; туба А-Л '1) он, она, оно; 2) тот, та, то'; О-Л '1) он, она, оно; 2) тот, та, то'; тув. O-Л '(мест. личн. и указ.) он; тот'; туркм. O-Л '(мест.) 1) (личн.) он, она, оно; 2) (указ.) тот, та, то'; турф. O-Л 'он, оный; этот, тот'; узб. У-Л '1) (мест. личн.) он, она, оно;

2) (мест. указ.) тот, та, то'; ферг. О-Л, У-Л '(личн. и указ. мест.) он; тот'; хак. О-Л '(мест.) он; тот'; чаг. У-Л 'он, тот'; чул. О-Л 'он, тот'; шорск. О-Л '1) он, она, оно; 2) тот (отсутствующий)'; якут. О-Л '(мест. указ.) тот, та, то'; ярк.: см. турф. КК О-Л '1) он, она, оно; 2) тот, та'; ЛСТ О-Л 'он; тот'; ХШ О-Л (указ. мест.) тот'.

ДЯ *-re* — факультативный суффикс субстантивной формы ряда местоимений [3, стр. 811; 44, стр. 90—94, 166], что, возможно, проясняет природу конечного *-l* в тюркских языках, также зачастую выполняющего роль факультативного суффикса.

СМ. *А.

Фонемные ряды: 2(—5(—1)); протофонемы: *I—(M(A))

ДЯ I—МА '1) теперь, сейчас, только что; в настоящее время; 2) еще (раз), снова'; ТРП (др.-уйг.) Э-М-ТИ 'теперь'; чув. Е-Н-ТЕ '1) теперь; (частица): 2) (усил.) уже, уж; 3) (усил.) же; 4) (усил.) и; 5) (утв.) именно, точно, так, так и есть; 6) (утв.) да; 7) неужели'; азерб. И-Н-ДИ 'ныне, нынче, теперь, в настоящее время'; бараб. И-Н-ДИ 'теперь'; башк. И-Н-ДЕ '1) уже, уж; 2) теперь; 3) еще'; др.-тюрк. Е-М-Д, Е-М-ТИ 'теперь'; казан. I-Н-ДИ 'теперь'; казах. Е-Н-ДИ 'теперь, в настоящее время'; караим. Г К Э-Н-ДИ '1) теперь, сейчас; 2) уже'; Т Э-НЬ-ДИ '1) так; 2) только; 3) наконец; 4) ведь, впрочем; 5) сейчас, теперь'; карак. Е-Н-ДИ '1) теперь; 2) затем; 3) больше'; карач.-балк. Е-Н-ДИ 'теперь'; кашг. А-М-ДИ 'теперь'; кирг. Э-МИ, южн. И-Н-ДИ 'теперь'; куманд. Э-М 'теперь'; Э-М-ДЕ 'в настоящее время, теперь'; Э-М-ДИ 'теперь'; Э-МЕ, Э-МИ 'теперь'; Э-М-ТЕ 'теперь; нынешний'; куманск. А-М-ДИ 'теперь, теперешнее время'; кумык. Э-Н-ДИ 'теперь'; леб. А-М 'теперь'; ног. Э-Н-ДИ '1) теперь, сейчас, в настоящее время; 2) уж, уже'; пол. Е-М-ДИ 'теперь'; сар.-юг. Е-НЕ 'еще, опять'; ст.-кыпч. Е-М-ДИ 'теперь, нынче, в настоящее время, сейчас'; ст.-осм. I-М-ДИ 'сейчас'; тар.: см. леб.; тат. И-Н-ДЕ '1) уже, уж; же; 2) уж (выражает просьбу сделать что-либо)'; тел.: см. леб.; тоб.: см. казан.; туба Э-М 'вот, теперь'; Э-М-ДИ 'теперь, на этот раз, наконец'; Э-М-(Т)И 'теперь'; тув. А-М 'теперь, сейчас, в настоящее время'; турецк. I-М-ДИ '(уст.) теперь, сейчас, в настоящее время, ныне, отныне, с этих пор'; туркм. И-Н-ДИ '1) теперь, сейчас; ныне; 2) в дальнейшем, впредь'; узб. Э-Н-ДИ (нареч.) теперь, сейчас; только что; как только'; уйг. Э-М-ДИ 'теперь'; ферг. Э-М-ДИ, Е-Н-ДИ 'теперь'; хак. А-М 'сейчас, теперь, сию минуту; в настоящее время'; хам. А-М 'теперь'; хот.: см. кашг.; чаг.: см. казан.; шорск.: см. леб.; якут. А-НЬ '(нареч.) ныне, теперь'; КК I-М-ДИ 'сейчас'; ХШ Е-М-ДИ 'теперь'.

Ср. кор. И 'это(т)'.

Г. Рамстедт разлагает японскую форму на два компонента: IMA = I + MA со значениями соответственно 'это' и 'место' [71, стр. 66]. Правильнее было бы 'это' и 'время', причем значение первого компонента в свободной форме не зафиксировано в памятниках древнеяпонской письменности. Значение же второго компонента отмечено в древнеяпонском языке в свободной форме [3, стр. 662—663]. Если принимать во внимание этимологию Г. Рамстедта, то аналогичное исследование следует провести и для тюркских языков. Действительно, как полагает В. Иллич-Свитыч со ссылкой на В. Котвича: «Собственно указательное значение **i* сохраняется в составе образований типа якут. *i-nnik* 'такой', хакас. (сагайск.) *i-dä* 'так', балкар. *i-nol* 'тот' [33, I, стр. 271]. Что касается второго компонента, то в свободной форме это значение в тюркских языках не отмечено. По мнению В. Егорова, конечный элемент *-tī*, *-di*, *-tē* в тюркских языках не является суффиксом образования наречий, как это ка-

жется на первый взгляд [см., например, 7, стр. 664], а представляет собой усилительную частицу [69, стр. 65].

Таким образом, для японского и тюркских языков можно провести реконструкцию на уровне двух корневых морфем: I 'это' + МА 'время', из которых первая имеет непосредственное отношение к рассматриваемому в данной работе семантическому полю. Проведенная реконструкция наглядно подтверждает точку зрения Б. А. Серебренникова о том, что «хранилищем различных архаизмов нередко являются сложные слова» [72, стр. 146].

Ср. с алтайской реконструкцией В. Иллич-Свитыча: I 'указательное местоимение' [33, I, стр. 271—272; II, стр. 150].

Фонемные ряды: 11—3; протофонемы: *KU

ДЯ КӨ 'это(т)'; чув. КУ '1) этот; 2) (частица разг.) вот'; сар.-юг. ҚО 'этот'.

Ср. кор. КЫ '1) (э) тот, (э) та, (э) то; 2) он, она, оно'.

О соответствии корейской фонемы *i* фонеме *ö* в алтайском праязыке см. работу Ли Ки-Муна [89, стр. 24].

См. *А.

Фонемные ряды: 9—1 (—9—2); протофонемы: *NA(NI)

ДЯ NANI 'что'; ТРП (О—Е) NE 'что'; чув. МЕН '1) (мест. попр.—относ.) что; 2) (в знач. отриц. мест.) нечего; ничего; 3) (мест. попр. употр. при вопросе, переспрашивании) а, что; 4) (мест. попр.) какой; 5) (мест. определит.) каждый; весь, все, всё; 6) (мест. определит.) самый; 7) (частица с обобщающим значением, передает совместность или приблизительность); 8) (в значении нареч. попр.) чего, отчего, почему; 9) (частица попр.) разве, что ли; 10) (частица усил.) как; что за, какой еще; чего только; 11) (частица, присоединяясь к сущ., выражает пренебрежение к тому, о чем говорится); 12) (в значении вводного слова) оказывается; 13) (разг. в сочет. с вспом. глаголом *ту* передает действие неопределенное или подразумеваемое из ситуации)'; азерб. НӘ 'что'; алт. НЕ '1) что; 2) всякий, какой бы то ни был'; бараб. НА '1) (мест. попр.) что; 2) (мест. относ.) что за, какой; 3) (мест. неопред.)'; башк. НИ '1) что; 2) (союз) ни...ни'; гаг. НЕ '(мест.) 1) (вопр. и относ.) что; 2) (вопр.) что, почему'; казах. НЕ '1) что; 2) или; 3) какой, что'; караим. Т НЕ 'что', Г К НӘ '1) что; 2) что-то; 3) что за, какой'; карақ. НЕ 'что'; карач.-балк. НЕ 'что'; кирг. НЕ '1) (мест. попр.) что; как; какой'; крым.-тат.: см. бараб.; куманд. НЕ 'что, что-либо'; куманск.: см. бараб.; кумык. НЕ '1) (мест. попр.) что; какой; 2) (союз) ни...ни, или...или'; ног. НЕ '(мест. попр.) что'; осм. НА: см. бараб.; ног. НЕ 'что, какой'; сал. НЕ 'что; почему'; сар.-юг. НЕ 'что, что за'; ст.-кыпч. НЕ 'что'; ст.-осм. НА 'что'; тат. НИ '1) (мест. попр.) что; 2) (мест. попр.) как, каков, какой; (с чл. в отриц. ф.) какой только ни...; 3) (союз) ни...ни; 4) (в сложном предложении употр. в составе союзного слова *ни...шул, ни...шунлы* что..., то...)' ; тел. тоб.: см. бараб.; туба НЕ 'что'; турецк. NE '1) что; 2) что за; 3) какой'; туркм. НЕ (частица) '1) (отриц.) ни; 2) (усил.) какой, что за..., как, каков; (мест. попр.) 3) что'; узб. НЕ (мест. попр.) '1) что; 2) какой; какой только не... (с гл. в отриц. ф.)'; уйг. НӘ '(мест. попр.) что'; ферг. НӘ 'что'; хак. НИМЕ '1) что; 2) вещь'; хам. НА, НА 'что; что за'; хот. НА 'что; что за'; чаг.: см. бараб.; КК НА '1) (вопр. мест.) что, какой; 2) (отриц. част.) ни; 3) ни...ни'; ЛСТ НА, НЕ 'что'.

Указанные японско-обще(древне)тюркские лексические параллели приводятся почти всеми исследователями связей японского языка с другими языками земного шара. Для примера укажем работы Н. Сыромят-

никова [44, стр. 71; 74, стр. 65] (в указанных работах ДЯ *pāni* ошибочно напечатано *pa*. — Э. А.) и Р. Миллера [75, стр. 38, 194]. С. Мураяма, приводя в своей работе японско-тюркские параллели (на примере татарского и древнетюркского языков) [76, стр. 237—238], в дальнейшем пытается опровергнуть точку зрения ученых, считающих исходной форму *pāni*, обосновывая данное положение тем, что в тюркских языках это чуть ли не единственный случай, когда инициальным согласным оказывается назальный *n*. Далее, привлекая материалы малайско-полинезийских языков, он пытается доказать, что корнем слова *pāni* является не *pa* и не *pāni*, а *ni*, однако приводимые им аргументы [76, стр. 238—241] совершенно неубедительны. К тому же форма с конечным *n* (соответствующая *ni* в древнеяпонской словоформе) встречается в чувашском языке, являющимся одним из базисных языков, так что реконструированной праформой, по-видимому, является все-таки **pāni*, что полностью согласуется с точкой зрения Р. Миллера [75, стр. 194].

О переходе общетюрк. *n* в чув. *m* см. работу Н. Поппе [77, стр. 37].

Фонемные ряды: 4—1; протофонемы: *РА

ДЯ WA 'я'; чув. Э-ПЕ 'я'; ПЕ-Р 'мы'.

Ф. Исхаков считает инициальное *э* в чувашском языке «наращением более позднего порядка» [45, стр. 212], что, кстати, отчасти подтверждается формой множественного числа ПЕ-Р 'мы', приведенной в словаре Н. Ашмарина [78, IX, стр. 158], в которой отсутствует инициальное *э*, а аффикс *-р* представляет собой не что иное как суффикс собирательной множественности [45, стр. 211—212; 79, стр. 65].

Ср. баоаньск. БЭ 'я'; монг. БА '(уст.) мы'.

См. *PAN(U).

Фонемные ряды: 4—1—9(—3); протофонемы: *PAN(U)

ДЯ WANU 'я'; ТРП (О—Е) BEN 'я'; гаг. БАН, БЕН 'я'; др.-тюрк. BEN '1) я; 2) (в служ. знач.) личный показатель сказуемости'; крым.-тат. БАН 'я'; осм. БАН 'я'; пол. БЕН 'я'; ст.-осм. BĀN 'я'; турецк. BEN 'я'; КК BĀN 'я'. В остальных тюркских языках произошел фонетический переход *b→m*, как результат чередования лабиальных согласных *b~m*, близких по природе своего образования.

Первичность *b*, восходящего, в свою очередь, к *p*, с одной стороны, является в результате сравнения с древнеяпонским языком-эталонном, в котором инициальный *ш* восходит к *p*, а, с другой стороны, на основе исследования В. Богородицкого, который писал: «...особенности в местоимении 1-го лица ед. числа сводятся к вариации начального согласного (*м* и *б*) и к различию гласного (*ä* и *и*). В вариации *м//б* первичным нужно признать согласный *б*, сменившийся на *м* под регрессивным ассимилирующим влиянием конечного носового; принять первичным *м* нельзя потому, что тогда осталась бы непонятной замена его через носовую *б* при наличии конечного носового. Подтверждение находим в соответствующем монгольском местоимении *bī*, имеющем в начале *б*» [91, стр. 166].

Азерб. МЭН 'я'; алт. МЕН 'я'; бараб. МАН, МЕН 'я'; башк. МИН 'я'; ТРП (др.-уйг.) МАН 'я'; казах. МЕН 'я'; караим. Т МЕНЬ 'я'; Г К МЭН 'я'; карак. МЕН 'я'; карач.-балк. МЕН 'я'; кашг. МАН, МЕН 'я'; кер. МЕН 'я'; кирг. МЕН 'я'; койб. МЕН 'я'; крым.-тат. МАН 'я'; куманд. МЕН 'я'; кумык. МЕН '(мест. личн.) я'; кюэр. МАН 'я'; леб. МАН 'я'; пол. МЕН 'я'; ног. МЕН '(мест. личн.) я'; саг.: см. койб.; сал. МАН, МЕН 'я'; сар.-юг. МЕН 'я'; сарт. МАН 'я'; ст.-кыпч. МЕН 'я'; тар. МАН 'я'; тат. МИН '(мест. личн.) я'; тел. МАН 'я'; тоф. МЕН 'я'; туба МЕН 'я'; тув. МЕН '(мест. личн.) я'; туркм. МЕН '(мест. личн.) я'; узб. МЕН

‘(мест. личн.) я’; уйг. МЭН ‘(мест. личн.) я’; ферг. МЭН, МЕН ‘я’; хак. МИН ‘(мест.) я’; хам. МАН, МЕН ‘я’; хив. МАН ‘я’; хот. МЕН ‘я’; чаг. МАН ‘я’; чул. МАН ‘я’; шорск. МАН ‘я’; якут. МІН ‘я’; КК МАН ‘я’; ЛСТ МАН ‘я’.

Две последние этимологии [см. *РА и *РАN(U)] подтверждают гипотезу Ф. Исхакова о параллельном существовании форм местоимений с *n* и без него [см. *А—N(A)—ТА], которые, правда, он рассматривал применительно к 3-ему лицу, но существо дела от этого не меняется. В свете данных древнеяпонского языка можно высказать также следующее предположение: в древнеяпонском языке действительно существовали две формы местоимения 1-го лица: с *n* и без него; причем частотность формы с *n* *wani*, как свидетельствуют источники, была крайне низка и отмечалась только в диалекте Ад(з)ума [3, стр. 822; 32, стр. 1396], в то время как форма *wa* без *n* в сочетании с *ga* и *re* обладала значительно большей частотностью, причем форма без *n* сохранилась только в чувашском языке, являющимся одним из базисных языков, а в остальных тюркских языках, включая ТРП, развитие получила форма с *n*.

Фонемные ряды: 7—1; протофонемы: *SA

ДЯ SA ‘1) (указ. мест.) это, то (в сфере интересов собеседника или только что упомянутое); 2) он, она, оно; эта вещь; 3) так; 4) (межд.) а) ну (—ка); ну (—вот); б) да! действительно!; в) о! ах!; г) выражение раздумья’; чув. СА ‘(древняя форма) тот’.

Ср. кор. ЧО ‘1) (вот) тот (та, то) (о чем-то определенном в пространстве или времени); 2) (межд.) э—э (употребляющееся, когда говорящий ищет нужное слово)’.

В древнеяпонском языке зафиксировано три местоимения со значением «этот, тот» одного корня с различной огласовкой, а именно: *sa*, *sō* и *si*, из которых два первых местоимения находят полное фонетико-семантическое соответствие в тюркских языках. Форма с гласным *a*, имеющая древнее происхождение, представлена только в чувашском языке и сохранилась в его диалекте [69, стр. 201]. Вторая словоформа *sō* имеет соответствие в целом ряде тюркских языков (см. при *SU).

Фонемные ряды: 7—2; протофонемы: *SI

ДЯ SI ‘1) ты; 2) это, то (в сфере интересов собеседника или только что упомянутое)’; ТРП SE-N ‘ты’; чув. Э-СЕ ‘ты’; Э-СИ-Р ‘вы’; азерб. СЭ-Н ‘ты’; алт. СЕ-Н ‘ты’; бараб. СЕ-Н, СИ-Н ‘ты’; башк. ИИ-Н ‘ты’; гаг. СА-Н, СЕ-Н ‘ты’; др.-тюрк. SI-N, SE-N ‘ты’; казан. СИ-Н ‘ты’; казах. СЕ-Н ‘ты’; караим. Т СЕ-НБ ‘ты’, Г СЭ-Н ‘ты’; карак. СЕ-Н ‘ты’; карач.-балк. СЕ-Н ‘ты’; кирг. СЕ-Н ‘1) ты; 2) иногда вы’; крымск. СА-Н ‘ты’; куманд. СЕ-Н, СИ-Н ‘ты’; куманск.: см. крымск.; кумык. СЕ-Н ‘ты’; кюэр.: см. крымск.; ног. СЕ-Н ‘ты’; осм.: см. крымск.; пол. СЕ-Н ‘ты’; саг. СЕ-Н ‘ты’; сар.-юг. СЕ-Н ‘ты’; сал. SE, SE-N, SI ‘ты’; ст.-кыпч. СЕ-Н ‘ты’; тат. СИ-Н ‘1) ты; 2) диал. ты (форма обращения жены к мужу)’; тел.: см. крымск.; тоф. SE-N ‘ты’; туба СЕ-Н ‘ты’; тув. СЕ-Н ‘ты’; турецк. SE-N ‘ты’; туркм. СЕ-Н ‘ты’; узб. СЕ-Н ‘ты’; уйг. СЭ-Н ‘ты’; ферг. СЭ-Н, СЕ-Н ‘ты’; хам. СА-Н ‘ты’; шорск.: см. крымск.; хак. СИ-Н ‘ты’; ЛСТ САН ‘ты’; КК SE-N ‘ты’.

Ср. бур. ШИ ‘ты’; калм. ЧИ ‘ты’; монг. ЧИ ‘ты’; монгор. ЧИ ‘ты’; дунс. ЧЫ ‘ты’; МА СИ ‘ты’; маньч. СИ ‘1) перед именем: твой; 2) перед причастием: ты’; нан. СИ ‘1) ты; 2) перед именем в притяжательной форме: твой’; орок. СИ ‘1) ты; 2) перед именем в притяжательной форме: твой; 3) перед лично оформленными деепричастиями: ты’; орох. СИ ‘1) ты; 2) перед именем в притяжательной форме: твой’; сол. СИ, ШИ ‘ты’; эвенк. СИ ‘ты’.

Относительно чув. *e-* и тюрк. *-л* см. при *РА и *РАN(U).

Фонемные ряды: 7—3; протофонемы: *SU

ДЯ SÖ 'то, это (местоимение, обозначающее предмет, несколько отдаленный от говорящего — «среднего аспекта»); акс. ШУ 'тот, этот'; бараб. ШУ 'этот'; башк. средн. ШО, ШУ 'тот'; гаг. ШУ '(мест. указ.) этот самый, вот этот'; дём. ШО 'это(т)'; казан. ШУ 'же, так'; караим. К ШУ 'этот, тот'; кирг. (У)ШУ 'этот (при указании на предмет менее близкий, чем обозначаемый местоимением *бу(л)*, и менее далекий, чем обозначаемый местоимением *(о)шол*); крым.-тат. ШУ 'тот'; кумык. ШО '(мест. указ.) 1) тот, та, то; 2) он, она, оно'; куч.: см. акс.; осм. СУ 'тот'; ст.-осм. ŠU 'тот'; турецк. ŞU '1) (вон) этот; тот; 2) нижеследующий'; туркм. ШУ '(местн. указ.) этот, эта, это'; узб. ШУ '(мест.) 1) этот, эта, это; сей; 2) (в знач. сказ.) вот; это и есть'; 3) он, она'; уйг. ШУ '(мест. указ.) этот, эта, это; тот, та, то'; ферг. ШУ 'тот, та, то'; хам. ШУ 'этот; тот'; хот.: см. акс.; КК ŠU 'этот'.

См. *А, *SA.

Фонемные ряды: 7—3—6(—2); протофонемы: *SU—R(I)

ДЯ SÖ-RE '(указ. мест.) это, то (в сфере интересов собеседника или только что упомянутое); 2) (межд.) вот! эй!'; ТРП (др.-уйг.) ŠO-L 'тот'; башк. ШУ-Л '1) тот, та, то; 2) (в знач. утв. частицы) да'; др.-тюрк. ŠU-L 'тот, вон тот'; казан. ШУ-Л 'тот'; казах. СО-Л 'тот, та, то'; караим. К ШО-Л 'этот, тот'; карак. СО-Л '(указ. мест.) тот самый; та самая, то самое'; кирг. (У)ШУ-Л 'этот (при указании на предмет более близкий, чем обозначаемый местоимением *бу(л)*, и менее далекий, чем обозначаемый местоимением *(о)шол*); кумык. ШО-Л '(мест. указ.) 1) тот; та; то; 2) он, она; оно'; ног. СО-Л '(мест. указ.) тот самый, та самая, то самое'; осм. ШО-Л 'тот'; пол. ШО-Л: О ШО-Л 'этот, тот'; тат. ШУ-Л '(мест.) 1) тот, та, то, этот, эта, это, вот этот, данный, настоящий; сей; 2) (в знач. сказ.) вот; это и есть; 3) он, она'; уйг. ШУ-Л '(мест. указ.) этот, эта, это; тот, та, то'; ферг. ШУ-Л 'тот, та, то'; хам. ШУ-Л 'тот'; хот. ШУ-Л 'тот'; якут. СО-Л 'тот, тот самый, точно (именно) тот'; БЛ ŠU-L '(мест. указ.) он; тот'; ЛСТ ШО-Л 'тот'.

См. *А, *А—R(I), *SU.

Проведенное исследование класса местоимений в японском, в частности древнеяпонском, и тюркских языках позволило выявить следующие общие моменты: 1) соответствие матрице фонетических корреспонденций (совпадение фонемных рядов) форм личных местоимений 1-го, 2-го и 3-го лица [см. *А, *А—R(I), *SI, *РА, *РА—N(U)]; 2) совпадение форм личного и указательного местоимений 2-го и 3-го лица [см. *SI, *А, *А—N(A)?, *А—R(I)]; 3) дифференциация указательных местоимений 3-го лица в исследуемых языках осуществляется по принципу пространственной соотнесенности, иначе говоря, местоимения, обозначающие предмет, наиболее близко расположенный к говорящему, называются местоимениями «ближнего аспекта», обозначающие предмет, несколько отдаленный от говорящего, — «среднего аспекта», обозначающие предмет, далеко отстоящий от говорящего, — «дальнего аспекта» [27, т. I, стр. 96]; 4) соответствие матрице фонетических корреспонденций форм указательных местоимений «ближнего», «среднего» и «дальнего» аспектов [см. *А, *А—R(I), *KU, *SA, *SI, *SU, *SU—R(I)]; 5) соответствие матрице фонетических корреспонденций местоимения места [см. *А—N(A)—TA]; 6) соответствие матрице фонетических корреспонденций вопросительного местоимения [см. *NA(NI)]. (См. также: 27, т. I, стр. 97).

Полученные результаты с достаточной убедительностью свидетельствуют об общности происхождения указанных местоимений в япон-

ском и тюркских языках, являясь весьма важным аргументом в пользу генетического родства исследуемых языков.

ЛИТЕРАТУРА

1. Г. А. Климов, Б. А. Серебренников. Методы лингвогенетических исследований. — В кн.: «Общее языкознание. Методы лингвистических исследований». М., 1973.
2. Э. Г. Азербайев. О фонемном составе древнеяпонского, чувашского языков и языка тюркских рунических памятников. — «Советская тюркология», 1985, № 1.
3. «Jidaibetsu kokugo daijiten. Jōdaihen», Tokyo, 1971 (Большой словарь древнеяпонского языка).
4. Х. Э. Эзизбаев. Азербайджанча-русча лүгәт. Баки, 1965.
5. «Гагаузско-русско-молдавский словарь», М., 1973.
6. В. В. Радлов. Опыт словаря тюркских наречий. Т. I—IV. СПб., 1893—1911.
7. «Древнетюркский словарь», Л., 1969.
8. «Карaimско-русско-польский словарь», М., 1974.
9. «Русско-карачаево-балкарский словарь», М., 1965.
10. «Киргизско-русский словарь», М., 1965.
11. Н. А. Баскаков. Диалект кумандинцев (куманды-кижи). М., 1972.
12. «Кумыкско-русский словарь», М., 1969.
13. С. Е. Малов. Лобнорский язык. Фрунзе, 1956.
14. «Ногайско-русский словарь», М., 1963.
15. «Документы на половецком языке XVI века. (Судебные акты Каменец-Подольской армянской общины)». М., 1967.
16. Э. Р. Тенишев. Строй саларского языка. М., 1976.
17. С. Е. Малов. Язык желтых уйгуров. Алма-Ата, 1957.
18. А. К. Курышжанов. Исследование по лексике старокыпчакского письменного памятника XIII в. — «Тюркско-арабского словаря». Алма-Ата, 1970.
19. Н. А. Баскаков. Диалект черневых татар (туба-кижи). М., 1966.
20. «Турецко-русский словарь», М., 1977.
21. «Туркменско-русский словарь», М., 1968.
22. «Узбекско-русский словарь», М., 1959.
23. «Уйгурско-русский словарь», М., 1968.
24. Г. Садвакасов. Язык уйгуров Ферганской долины. I. Алма-Ата, 1970.
25. С. Е. Малов. Уйгурский язык. Хамийское наречие. М.—Л., 1954.
26. С. Е. Малов. Уйгурские наречия Синьцзяна. М., 1961.
27. М. Кизда. Грамматика японского языка. Т. I—II. М., 1958—1959.
28. А. Н. Самойлович. Опыт краткой крымско-татарской грамматики. Пг., 1916.
29. Н. П. Дыренкова. Грамматика ойротского языка. М.—Л., 1940.
30. В. Котвич. Исследования по алтайским языкам. М., 1962.
31. Э. В. Севортян. Этимологический словарь тюркских языков. Т. I—III. М., 1974—1980.
32. S. Ono, A. Satake, K. Maeda. Kogo jiten. Tokyo, 1974 (Словарь старояпонского языка).
33. В. Иллич-Свитыч. Опыт сравнения ностратических языков (семитохамитский, картвельский, индоевропейский, уральский, дравидийский, алтайский). Т. I—II. М., 1971—1976.
34. «Ойротско-русский словарь», М., 1947.
35. Л. В. Дмитриева. Язык барабинских татар. Л., 1981.
36. «Русча-фарсча-азербайджанча мұхтасар лүгәт», Баки, 1944.
37. «Русско-башкирский словарь», М., 1964.
38. «Башкирско-русский словарь», М., 1958.
39. С. Ф. Миржанова. Южный диалект башкирского языка. М., 1979.
40. Х. Махмудов, Ф. Мұсабаев. Қазақша-орысша сөздік. Алматы, 1954.
41. «Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі». Т. I—VII. Алматы, 1974—1983.
42. В. Г. Гусев. Староосманский язык. М., 1979.
43. Л. З. Будагов. Сравнительный словарь турецко-татарских наречий. Т. I—II. СПб., 1869—1871.
44. Н. А. Сыромятников. Древнеяпонский язык. М., 1972.
45. Ф. Г. Исхаков. Местоимение. — В кн.: «Исследования по сравнительной грамматике тюркских языков. Морфология», ч. II, М., 1956.
46. «Грамматика азербайджанского языка. Фонетика, морфология и синтаксис», Баку, 1971.
47. «Грамматика современного башкирского литературного языка», М., 1981.
48. Л. А. Покровская. Грамматика гагаузского языка. Фонетика и морфология. М., 1964.

49. А. Н. Кононов. Грамматика языка тюркских рунических памятников VII—IX вв. Л., 1980.
50. «Современный казахский язык. Фонетика и морфология», Алма-Ата, 1962.
51. К. М. Мусаев. Краткий грамматический очерк караимского языка. М., 1977.
52. Н. А. Баскаков. Каракалпакский язык. — В кн.: «Языки народов СССР. Тюркские языки», т. II, М., 1966.
53. Б. М. Юнусалиев. Киргизский язык. — В кн.: «Языки народов СССР. Тюркские языки», т. II, М., 1962.
54. Э. В. Севортян. Крымско-татарский язык. — В кн.: «Языки народов СССР. Тюркские языки», т. II, М., 1966.
55. Н. А. Баскаков. Ногайский язык. — В кн.: «Языки народов СССР. Тюркские языки», т. II, М., 1966.
56. Э. Р. Тенишев. Строй сарыг-югурского языка. М., 1976.
57. М. З. Закиев. Татарский язык. — В кн.: «Языки народов СССР. Тюркские языки», т. II, М., 1966.
58. В. Н. Рассадин. Морфология тофаларского языка в сравнительном освещении. М., 1978.
59. Ф. Г. Исхаков, А. А. Пальмбах. Грамматика тувинского языка. Фонетика и морфология. М., 1961.
60. А. Н. Кононов. Грамматика турецкого языка. М.—Л., 1941.
61. П. А. Азимов, Дж. Амансарыев, К. Сарыев. Туркменский язык. — В кн.: «Языки народов СССР. Тюркские языки», т. II, М., 1966.
62. А. Н. Кононов. Грамматика современного узбекского литературного языка. М.—Л., 1960.
63. «Грамматика хакасского языка», М., 1975.
64. Л. С. Левитская. Историческая морфология чувашского языка. М., 1976.
65. А. П. Дульзон. Чулымско-тюркский язык. — В кн.: «Языки народов СССР. Тюркские языки», т. II, М., 1966.
66. Г. Ф. Бабушкин, Г. И. Донидзе. Шорский язык. — В кн.: «Языки народов СССР. Тюркские языки», т. II, М., 1966.
67. В. М. Насилов. Древнеуйгурский язык. М., 1963.
68. «Чувашско-русский словарь», М., 1982.
69. В. Г. Егоров. Этимологический словарь чувашского языка. Чебоксары, 1964.
70. «Чувашско-русский словарь», М., 1961.
71. G. J. Ramstedt. Studies in Korean Etymology. Helsinki, 1949.
72. Б. А. Серебрянников. Методы лингвогеографических исследований. — В кн.: «Общее языкознание. Методы лингвистических исследований», М., 1973.
73. «Русско-хакасский словарь», М., 1961.
74. N. A. Syromiatnikov. The Ancient Japanese Language. Moscow, 1981.
75. R. A. Miller. Japanese and the Other Altaic Languages. Chicago and London, 1971.
76. S. Miyayama. Nippongo-no gogen. Tokyo, 1974. (Происхождение слов японского языка).
77. Н. Н. Понне. Чувашский язык и его отношение к монгольскому и турецким языкам. III. — «Известия Российской Академии Наук», VI серия, XIX, 1925, №№ 1—5.
78. Н. И. Ашмарин. Словарь чувашского языка. Вып. I—XVII. Казань—Чебоксары, 1928—1950.
79. N. Poppe. Plural Suffixes in the Altaic Languages. — «UJb», 1952, В. XXIV, Н. 3—4.
80. Б. Х. Тодаева. Баоаньский язык. М., 1957.
81. «Монгол-орос толь», М., 1957.
82. Я. С. Ахметгалеева. Исследование тюркоязычного памятника «Кисекбаш китабы». М., 1979.
83. Э. Н. Наджип. Историко-сравнительный словарь тюркских языков XIV века. Кн. I, М., 1979.
84. А. К. Боровков. Лексика среднеазиатского тевфсира XII—XIII вв. М., 1963.
85. «Большой корейско-русский словарь», т. I—II, М., 1976.
86. «Русско-корейский словарь», М., 1954.
87. Э. К. Пекарский. Словарь якутского языка. Вып. I—XIII. СПб., Пг., Л., 1907—1930.
88. А. К. Боровков. Бадā'n' ал-лугат. М., 1961.
89. Lee Ki-Moon. Kankokugo-no rekishi. Tokyo, 1975 (История корейского языка. Перевод с (южно)корейского на японский выполнен Ю. Фудзимсто под ред. С. Мураяма).
90. К. Аширалиев. Орхон-Енисей жазма эстеликтериндеги унгу сөздөр. Фрунзе, 1963.
91. В. А. Богородицкий. Введение в татарское языкознание в связи с другими тюркскими языками. Казань, 1953.
92. «Сравнительный словарь тунгусо-маньчжурских языков», т. I—II. Л., 1975—1977.

А. Ф. КОЧКИНА

РУНИЧЕСКИЕ ЗНАКИ НА КЕРАМИКЕ БИЛЯРА

Одним из наименее разработанных вопросов истории духовной культуры волжских булгар домонгольского периода является проблема их письменной традиции¹. Прямые письменные источники этого периода, связанные с зарождением Волжской Булгарии, отсутствуют. Однако на основании сообщений средневековых авторов, а также более поздних болгарских эпиграфических памятников и отдельных археологических материалов у исследователей сложилось убеждение о наличии у булгар развитой письменной культуры².

Особый интерес представляет вопрос о письменной системе булгар до принятия ислама. После этого события, как известно, широкое распространение получила арабская графика. О существовании болгарской письменности свидетельствуют изредка встречающиеся знаки рунического алфавита на предметах, обнаруженных при археологических раскопках. Сравнивая их со знаками орхоно-енисейских и восточно-европейских надписей, специалисты пришли к выводу о знакомстве волжских булгар с ними³. Находка камня с рунической надписью в д. Юрьево (МАССР) подтвердила этот вывод, что позволило Э. Р. Тенишеву включить Среднее Поволжье в ареал распространения рунической письменности⁴.

В последние годы проводимые на Билярском городище (ТАССР, Алексеевский район) раскопки существенно дополнили коллекцию археологических материалов, расширивших наши представления о истории письма волжских булгар. Среди находок привлекают внимание прежде всего фрагменты гончарной керамики с нанесенными на них знаками, сходными с руническими. Эти знаки дошли до нас преимущественно в виде клейм, оттиснутых на днище гончарных сосудов, и реже — в виде знаков, прочерченных на других его частях. Кроме того, подобные знаки встречаются иногда на костяных изделиях и других бытовых предметах.

Систематизация гончарных клейм Билярского городища позволила более четко выделить тот круг знаков, который может быть связан с рунической графикой (рис. 1)⁵. Структурно-количественный анализ клейм показал, что почти половина всех выявленных изображений составляют знаки, сходные по начертанию с руническими. Одни из них идентичны конкретным рунам, другие — представляют собой усложненные варианты рунических знаков. Важно отметить, что сам принцип составления изображений клейм близок к принципу создания графем

ки для изображения тамг и различных меток⁷. Гончарные клейма волжских булгар, по-видимому, в известной мере подтверждают наличие такого рода фактов. Знаки, использовавшиеся для клейм на гончарных изделиях, не являлись только производственными знаками. Это подтверждается весьма интересной находкой 1983 года на XXVIII раскопе в центральной части Билярского городища, где была обнаружена лопатка овцы с двумя прочерченными знаками (рис. 2, 1). Нижняя часть лопатки обломана, но, судя по всему, там находилось фигурное отверстие. В суставной части — сквозное наклонное отверстие, безусловно, предназначенное для подвешивания изделия. Нанесенные на ней знаки типологически близки к упомянутым гончарным клеймам. Стоит отметить, что сочетание двух знаков — не исключение: дважды на днищах сосудов в Биляре встречались клейма, состоящие из двух знаков (рис. 2, 2). Знаки на лопатке расположены вертикально один под другим и выполнены тщательно, что может свидетельствовать только о ритуальном, символическом предназначении изделия. Маловероятно, что лопатку носил человек в качестве амулета: она для этого слишком громоздка. Не могла ли она быть подвешена в помещении, выполняя функцию своеобразного герба, а в ряде случаев и оберега? Большинство подобных знаков можно рассматривать как тамги, знаки собственности или принадлежности к семейно-родовым коллективам феодализирующегося общества. Синхронное существование разнообразных, типологически однородных знаков может быть своего рода индикатором распада древних крупных родственных объединений на отдельные феодальные семьи-хозяйства.

Немаловажным является и то, что лопатка была найдена в слое, датированном предшествующим монгольскому нашествию периодом. Это свидетельствует о том, что, несмотря на всеобщую исламизацию и утверждение письменности на основе арабской графики, в среде булгар долго сохранялись древние традиции, связанные с язычеством и руническим письмом.

О глубоких и прочных корнях рунической письменности свидетельствуют и уникальные находки из Биляра. В 1983 году на XXVIII раскопе, недалеко от участка, где была найдена лопатка овцы с прочерченными знаками, обнаружили ручку от разбитого гончарного сосуда с рунической надписью (рис. 3, 1—2). Это — первая такого рода находка не только на Билярском городище, но и среди других археологических памятников Волжской Булгарии.

Ручка была найдена при снятии культурного слоя на глубине 50—60 см. После зачистки на глубине 80 см здесь выявился углубленный котлован постройки № 1, следы разрушения которой прослеживались в виде прослойки со следами пожарища на глубине 30—40 см от современной поверхности. Стратиграфия и характер заполнения котлована постройки и прилегающих к нему участков позволяют связать время ее существования с последним этапом домонгольского периода, а разрушение — с монгольским нашествием. Среди наиболее выразительных находок, не противоречащих этой датировке, — наконечник стрелы типа монгольского срезня, несколько фрагментов бирюзовой кашинной керамики, отдельные фрагменты привозной гончарной керамики.

Интерес представляет и сама ручка. Такие ручки периодически встречаются на булгарских археологических памятниках⁸, но они не принадлежат к числу массовых находок. Данная ручка относится к типу так называемых зооморфных, то есть изготовленных в виде стилизованной головки какого-либо животного, чаще всего барана, лося; некоторые ручки напоминают птичьи головки. Иногда они бывают настолько абстрактно стилизованы, что трудно определить прототип. Поскольку

ручки обычно находили отбитыми, то соотнесение их с определенной формой сосуда представляло известные трудности. Некоторое представление об этом может дать сосуд с XXVI раскопа Билярского городища, расположенного также в его центральной части. Это — оригинальный сосуд на трех толстых коротких ножках — трипод, по форме близкий к горшковидным, но более приземистых очертаний (рис. 4):

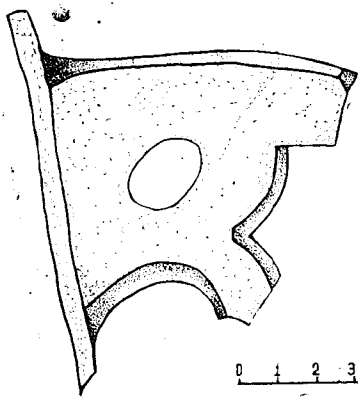


Рис. 3(1).



Рис. 3(2).

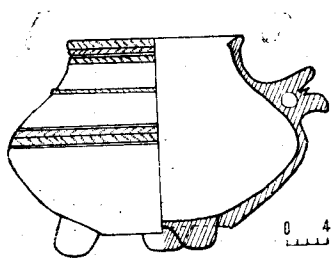


Рис. 4.

Рис. 3(1). Зооморфная ручка от гончарного сосуда.

Рис. 3(2). Руническая надпись на ручке (вид сверху).

Рис. 4. Трипод с зооморфной ручкой с XXVI раскопа.

высокая и широкая горловина слегка наклонена внутрь, венчик немного оттянут наружу, край скошен внутрь, тулово вытянуто по горизонтали, плечики выпуклые, днище слегка вогнуто. Сосуд изготовлен из хорошо отмученной глины с небольшой примесью песка и после обжига приобрел красноватый оттенок. Стенки тонкие, ко дну утолщаются, поверхность тщательно залощена. Декор сосуда пышный: под венчиком на нижней части горловины по плечикам расположены горизонтальные резные линии и наклонные отпечатки пяти-шестизубчатого штампа, с противоположной стороны от ручки на средней линии узора находится двойной плоский налеп. Одна ручка, прикрепленная к плечикам, дополняет декор сосуда, создавая единое целое. Ручка напоминает голову петуха: короткий острый клюв, борода и пышный гребень. Сосуд явно не повседневный; скорее всего он предназначался для парадных трапез. Редкие находки похожих изделий как в целом виде, так и во фрагментах позволяют предположить особое их производство, возможно, даже на заказ. По некоторым особенностям сохранившейся части стенки ручка с XXVIII раскопа могла принадлежать подобному сосуду. Что касается происхождения и датировки таких ручек, то специально эти вопросы пока не разрабатывались. По условиям нахождения некоторых изделий

в Биляре можно предположить время их производства не ранее XI века, а сосуды с надписью на ручке можно отнести даже к XII веку. В связи с тем что рунические надписи этого времени встречаются нечасто, подобная находка является весьма значительным фактом.

Надпись была нанесена на ручку сосуда острым инструментом по сырой глине до обжига. Все знаки четкие, аккуратные, кроме четвертого, при начертании которого произошел сбой и вместо дугообразной линии получилась ломаная. Высота строки составляет 1—1,5 см. Надпись состоит из пяти знаков и словоотделителя. Судя по последнему, чтение должно производиться справа налево. Все знаки, за исключением второго, простые. Второй знак внизу имеет крючкообразный отросток.

Анализ палеографических особенностей билярской надписи и сопоставление с образцами рунических надписей на других памятниках позволяют высказать предположение о близости ее к надписям северокавказских и волго-донских памятников⁹. Этому не противоречит и генетическая близость некоторых групп населения, обитавших в указанных регионах. Если принять во внимание мнение некоторых тюркологов о протоболгарской языковой принадлежности этих надписей¹⁰, то данное предположение становится еще более обоснованным.

При прочтении надписи, особенно такой небольшой, перед исследователями всегда возникает ряд вопросов. Во-первых, что означает сложное написание второго знака? По мнению С. Я. Байчорова, в северокавказских рунических надписях применялся прием соединения отдельных простых рун в сложные¹¹. Другой вопрос связан с наличием в конце надписи словоотделителя, который обычно ставится внутри фразы, разделяя отдельные слова. В связи с этим возникает мысль, не является ли билярская надпись отрывком какой-либо другой надписи, использованной в качестве образца. Однако почерк надписи свидетельствует об уверенной руке мастера, хорошо знакомого с руническим письмом, что позволяет предположить ее вполне самостоятельный характер.

Предоставляя специалистам возможность окончательного прочтения и перевода этой надписи, выскажем лишь некоторые предположения. Если при чтении надписи следовать особенностям северокавказского варианта рунического письма, то знаки можно связать со следующими буквами¹²:

> — а, ä, Ψ — š, > — t, $\emptyset$ — j, $\text{)} - n$

Образовавшееся сочетание не имеет точных аналогов в древнетюркском словаре. Однако сходные по написанию слова имеются, и они обнаруживают близость по смыслу: aš — 'есть', aš tat — 'отведать пищу', aš tatiu — 'пища', taĭna — 'кислое молоко'¹³. Поэтому вполне можно допустить, что надпись на сосуде представляет собой благопожелание к принятию пищи, а может быть, даже конкретно указывает, для какого именно продукта предназначен этот сосуд.

Независимо от того, что означает надпись на ручке, она не только подтверждает гипотезу о знакомстве волжских булгар с руническим письмом, но и убеждает в его длительном бытовании, а следовательно, позволяет более уверенно включить Волжскую Булгарию в ареал распространения древнетюркской рунической письменности, близкой в своей основе к северокавказскому варианту. Наиболее вероятно, что руническая система письма была принесена в Среднее Поволжье той частью населения, которая непосредственно генетически была связана с салто-

во-маяцкой культурой и приняла активное участие в оформлении этнокультурного облика Волжской Булгарии в целом. В свое время М. И. Артамонов отмечал, что рунические надписи, найденные на памятниках салтово-маяцкой культуры, скорее всего, принадлежат тюркоязычным булгарам¹⁴. Благодаря этим племенам такие знаки широко распространились в то время и в Дунайской Булгарии¹⁵.

Прочные традиции рунического письма у волжских булгар нашли выражение в образовании на его основе тамг, или знаков собственности, сохранившихся преимущественно в виде гончарных клейм. Редкие пока находки надписей все же позволяют утверждать, что наряду с арабской графикой в определенной прослойке булгарского населения бытовало руническое письмо, и мы вправе ожидать новых интересных находок, которые приоткроют неизвестные страницы истории письменной культуры волжских булгар.

¹ Г. М. Давлитшин. Духовная культура Волжской Булгарии домонгольского периода. Автореф. канд. дисс., Казань, 1982, стр. 12.

² Г. М. Давлитшин. Указ. раб., стр. 13; Г. В. Юсупов. Введение в булгаро-татарскую эпиграфику. М.—Л., 1960; Х. Р. Курбатов. Татар теленең алфавит һәм орфография тарихы. Казан, 1960.

³ Г. В. Юсупов. Указ. раб., стр. 44; А. Х. Халиков. Культура народов Среднего Поволжья в домонгольский период. — «Вопросы истории», 1976, № 4, стр. 112; Г. М. Давлитшин. О письменности населения Волжской Булгарии домонгольского периода. — В кн.: «Сборник аспирантских работ. Гуманитарные науки. История. Педагогика», Казань, 1977, стр. 60; Х. Р. Курбатов. Идел буе болгарларында гарәп язуюна кадәр булган алфавит. — «Совет әдәбияты». Казан, 1957, № 10.

⁴ Э. Р. Тенишев. Камень с рунической надписью из Юрьева. — В кн.: «Лингвистический сборник. 1972», Ташкент, 1973.

⁵ А. Ф. Кочкина. Гончарные клейма Билярского городища. — В кн.: «Средневековые археологические памятники Татарии». Казань, 1983, стр. 86, рис. 5.

⁶ И. В. Кормушин. К основным понятиям тюркской рунической палеографии. — «Советская тюркология», 1975, № 2, стр. 27 и след.

⁷ М. Д. Полубояринова. Знаки на золотоордынской керамике. — В кн.: «Средневековые древности евразийских степей», М., 1980; А. М. Щербак. Знаки на керамике из Саркела. — «Эпиграфика Востока», 1958, XII; М. А. Хабичев. О рунах и тамгах. — «Филологические этюды. Серия языкознания», вып. I. Ростовский (на-Дону) госуниверситет, 1972.

⁸ Т. А. Хлебникова. Гончарное производство волжских булгар в X—начале XIII века. — «Материалы и исследования по археологии СССР», 1961, № 111, стр. 134, 136, рис. 35 (2, 3, 5, 6).

⁹ А. М. Щербак. Несколько слов о приемах чтения рунических надписей, найденных на Дону. — «Советская археология», 1954, XIX; М. А. Хабичев. О древнетюркских рунических надписях в Аланских катакомбах. — «Советская тюркология», 1970, № 2; В. А. Кузнецов. Надписи Хумаринского городища. — «Советская археология», 1963, № 1; С. Я. Байчоров. Северокавказский ареал древнетюркской рунической письменности. Автореф. канд. дисс., М., 1977.

¹⁰ А. М. Щербак. Несколько слов о приемах чтения рунических надписей, найденных на Дону; С. Я. Байчоров. Указ. раб., стр. 3.

¹¹ С. Я. Байчоров. Указ. раб.

¹² А. М. Щербак. Несколько слов о приемах чтения рунических надписей, найденных на Дону; С. Я. Байчоров. Указ. раб.

¹³ «Древнетюркский словарь», Л., 1969.

¹⁴ М. И. Артамонов. Надписи на баклажах Новочеркасского музея и на камнях Маяцкого городища. — «Советская археология», 1954, XIX.

¹⁵ Л. Дончева-Петкова. Знаци върху археологически паметници от средновековна България (VII—X вв.). София, 1980.

Х. НОВКА

К ИСТОРИИ ТЮРКОЛОГИИ В БЕРЛИНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

В 1985 году отмечается 175-летие основания университета им. А. Гумбольдта в Берлине. В этом учебном заведении на протяжении многих десятилетий велись наряду с другими также тюркологические исследования и преподавались тюркские языки. Однако успешное развитие тюркологии в Берлинском университете было затруднено недифференцированностью в то время тюркологии и других востоковедных дисциплин: арабистики, иранистики, исламоведения и алтаистики. Кроме того, в начале XIX века официальные власти Пруссии не проявляли особой заинтересованности в развитии тюркологических дисциплин.

Иное положение сложилось, например, в таких странах, как Венгрия и Австрия, ставших в результате турецкого проникновения на Балканы соседями Османской империи. Географические, дипломатические и административные связи вызвали необходимость языковых контактов, а следовательно, и изучения турецкого языка. Одним из следствий этого было быстрое развитие тюркологии в университетах и академиях Будапешта и Вены. Однако между Пруссией, расположенной в центре Европы, и Османской империей, владевшей обширными областями в юго-восточной Европе, тесных контактов не существовало. Поэтому в Берлинском университете тюркологии первоначально уделяли лишь незначительное внимание, что не способствовало ее оформлению в самостоятельную научную дисциплину.

Однако в середине XIX века положение заметно изменилось. Это было связано с научной деятельностью профессора Иоганна Вильгельма Шотта (1802—1889) — востоковеда широкого профиля. В 1838 году он был назначен на должность профессора филологического факультета Берлинского университета, а несколько позднее получил и собственную кафедру. И. В. Шотт, занимавшийся преимущественно восточными языками, которые в то время преподавались как комплексный учебный предмет, сосредоточил свое внимание на изучении и преподавании восточноазиатских языков. Его труды по синологии не утратили своего значения по сей день. И. В. Шотт, интересовавшийся также и языками Сибири, вплотную подошел к исследованию алтайских языков. Эти языки, и в первую очередь относящиеся к данной группе тюркские языки, стали наряду с синологией предметом его научных изысканий и преподавания. Самой ранней его алтаистской работой была «Versuch über die tatarischen Sprachen» (Berlin, 1836). Научная деятельность молодого профессора китайского и татарских (алтайских) языков Берлинско-

го университета получила признание — в 1841 году он был избран действительным членом Прусской академии наук.

И. В. Шотт положил начало сравнительному изучению алтайских языков. Благодаря этому многие ученые считают его основателем алтаистики. Особенный интерес представляют следующие две его работы по алтаистике и тюркологии: «*Ältesten Nachrichten von Mongolen und Tataren*» (Berlin, 1846) и «*Über die echten Kirgisen*» (Berlin, 1865). В работе «*De Lingua Tschuwaschorum*» (Berlin, 1841) ученый подтвердил рядом лингвистических доказательств выдвинутый Г. Ю. Клапротом тезис о том, что чувашский язык принадлежит к семье тюркских языков.

И. В. Шотт первым начал изучать якутский язык («*Über die Jakutische Sprache*» — «*Ermanns Arch.*», 1843, 3). В результате он пришел к важнейшему заключению, что тунгусские языки Восточной Сибири не только типологически, но и генеалогически принадлежат к алтайской семье. Тем самым было опровергнуто широко распространенное в то время мнение, что эти языки ближе всего стоят к уральским.

Будучи членом Берлинской академии, И. В. Шотт выпустил несколько своих работ в серии «*Abhandlungen der Königlischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin*». В их числе пять выпусков «Алтайских исследований». В этих «*Abhandlungen*» он опубликовал еще две большие статьи полемиического характера, объединенные общим заголовком «*Zur Uigurenfrage*» (1874 и 1875). Будучи глубоким знатоком китайского языка, И. В. Шотт привлек к исследованию документы на этом языке о древнетюркской оседлой народности уйгуров, проживавшей в Центральной Азии.

Однако вопрос о том, насколько уральские языки родственны алтайским, так и остался до конца не разрешенным. Ему не удалось привести убедительных доказательств общности этих двух языковых семей. В дальнейшем он вообще отошел от этой проблемы.

Подводя итоги почти полувековой деятельности профессора И. В. Шотта в Берлине, следует указать, что в истории тюркологии ему принадлежит место выдающегося преподавателя и ученого, внесшего немалый вклад в решение многих научных проблем. Целый ряд его работ сохраняет свое значение по настоящее время.

Германский империализм, особенно после 1871 года, усиленно стремился к приобретению колоний и сфер влияния. Внешняя политика кайзеровской Германии все более ориентировалась на захват территорий в Азии и Африке. А это требовало, помимо всего прочего, также подготовки кадров, владеющих восточными языками. Для этого необходимо было создать учебное заведение для подготовки квалифицированных переводчиков с восточных языков, по образцу переводческих школ Вены и Парижа. В апреле 1886 года по «договору между рейхом и Пруссией» было решено создать «Семинар восточных языков». В одном из документов в этой связи говорилось: «Для успешного развития наших отношений с Азией и Африкой в последнее время резко возросла потребность в расширении изучения языков Востока и Восточной Азии, особенно для нужд переводческой и других специальных служб. Предполагается, по аналогии со „школами по изучению восточных языков“, функционирующими в Вене и Париже, осуществить то же самое в Германии и для этой цели создать семинар восточных языков в Берлинском университете Фридриха Вильгельма».

Первоначальный план предусматривал преподавание в новом «Семинаре», открывшемся 27 октября 1887 года, шести главных языков: арабского, китайского, индийских, японского, персидского и турецкого.

Позднее было введено также изучение нескольких африканских языков. Относительно преподавательского состава рекомендовалось: «Для каждого языка должен быть назначен немецкий преподаватель, хорошо знакомый с условиями и языком страны, а ему в помощь следует привлечь ассистента из аборигенов».

Основной задачей «Семинара» являлась подготовка владеющих соответствующим языком служащих для зарубежных представительств и т. д. Поэтому «Семинар» часто именовали «Восточной колониальной академией». Большое внимание уделялось преподаванию турецкого языка, ибо к тому времени Турция активно втягивалась в сферу имперских интересов кайзеровской Германии.

Проведение тюркологических исследований особенно энергично поощрялось первым директором «Семинара восточных языков» профессором Эдуардом Захау (1845—1930), хотя он сам был не тюркологом, а семитологом и арабистом (с 1876 года он заведовал кафедрой семитских языков в Берлинском университете). Турция и турецкий язык были постоянными объектами его внимания. Так, в 1873 году он отправился в Турцию для проведения научных исследований. Турецкой тематике он посвятил несколько работ, в том числе «Vom asiatischen Reich der Türken» (Weimar, 1915). Кроме того, в течение ряда лет он вел семинары и практические занятия по «чтению турецких документов и писем» и по новотурецкой литературе.

Профессору Э. Захау удалось привлечь к работе в Берлинском «Семинаре» видных тюркологов, в том числе профессоров Карла Фоя и Фридриха Гизе. Об успешной работе «Семинара» свидетельствует то, что уже через каких-нибудь пять лет после начала преподавания турецкого языка в 1893 году была издана работа «„Murşid-i lisany 'Osmani" — Lehrbuch der modernen osmanischen Sprache» («„Мюршид-и лисаны османи" — учебник современного османского языка»). Это был одиннадцатый том серии «Lehrbücher des Seminars für Orientalischen Sprachen zu Berlin», издаваемой директором «Семинара». Автором этого труда был И. И. Манисаджян, приглашенный преподавать турецкий язык сразу же после открытия «Семинара». Грамматика отличалась четкой структурой, ясностью изложения и в течение двадцати пяти лет оставалась основным учебным пособием для слушателей «Семинара».

Карл Фой (1856—1907) был одним из наиболее выдающихся тюркологов, участвовавших в работе «Семинара». Интерес к турецкому языку возник у него довольно поздно. Первоначально он занимался классической филологией и новогреческим языком. Изучение турецких заимствований в новогреческом языке и послужило поводом к тому, что он вскоре занялся исключительно османско-турецким языком. Он был большим знатоком этого, а также других тюркских языков. Работая в «Семинаре» вначале лектором турецкого языка (с 1889 года), он стал затем экстраординарным профессором.

Карл Фой является автором ценных научных трактатов, публиковавшихся главным образом в серии «Mitteilungen des Seminars für Orientalische Sprachen» (MSOS). Его работы главным образом посвящены проблемам грамматики турецкого языка: вокализму, исторической грамматике, синтаксису. Кроме того, он интересовался диалектологией и опубликовал по этой теме несколько работ («Das Aidinisch-Türkische», 1900 и др.).

К. Фою принадлежит одна из ранних попыток положить староосманские транскрипционные тексты в основу исследования истории османско-турецкого языка. Предложенный им метод, разработанный на осно-

ве записей «Мюльбахского студента» (приблизительно 1450 год) («Древнейшие османские транскрипционные тексты, переданные готическими буквами», — MSOS, 4, 1901), является образцом исследования древне- и среднеосманского вокализма.

Научные изыскания К. Фоя, однако, не ограничивались турецким языком. Он привлекал материалы и других тюркских языков, особенно азербайджанского. В течение десятилетий — вплоть до появления грамматик советских авторов — его «*Azerbajġanische Studien mit einer Charakteristik des Südtürkischen*» (MSOS, 6 1903; 1904) считалась самым обстоятельным и обоснованным описанием этого закавказского тюркского языка.

К. Фой был первым немецким тюркологом, работавшим в историко-лингвистической области. Он исследовал и интерпретировал язык привезенных в Берлин манихейских фрагментов из Турфана. Четыре экспедиции, финансировавшиеся Пруссией и проводившиеся под руководством берлинских ученых Альберта Грюнведела и Альберта фон Ле Кока, произвели в 1902—1914 годах многочисленные археологические раскопки в центрально-азиатском Турфанском оазисе. Добытые ими ценные археологические материалы, в том числе рукописи и печатные тексты, большей частью первоначально попали в Берлинский этнографический музей. Однако вскоре письменные документы были переданы Прусской академии наук. К. Фой на основании этих рукописей с привлечением материалов экспедиций 1902—1903 годов уже в 1904 году опубликовал в «*Sitzungsberichte der Berliner Akademie der Wissenschaften*» (SBAW) статью «Язык тюркских турфанских фрагментов манихейского письма».

Ранняя смерть К. Фоя, считавшегося одним из лучших знатоков турецкого языка и его истории, помешала ему завершить и другие начатые им работы.

В 1907 году в качестве преемника К. Фоя в «Семинар» был приглашен арабист профессор Фридрих Гизе (Giese) (1870—1944). По примеру Георга Якоба, преподавателя тюркологии в Кильском университете, он занялся исключительно турецким языком, знания в области которого он развил и углубил за шесть лет работы (с 1899 до 1905) в качестве старшего преподавателя французского и английского языков в немецкой школе (Alman Lisesi) в Стамбуле. Он владел турецким языком настолько хорошо, что мог во время своих продолжительных поездок по средней части Малой Азии прекрасно разбираться в особенностях нескольких анатолийских диалектов. Результатом этих исследований стала его монография «*Materialen zur Kenntnis des Anatolischen Türkisch. Erzählungen und Lieder aus Vilayet Qonja*» (Halle und New York, 1907), представляющая собой одну из самых ранних работ по этому среднеанатолийскому диалекту. В течение семи лет работы в Берлине Ф. Гизе занимался, кроме преподавательской деятельности, турецкой историей, которая стала главным объектом его научных интересов. Первым исследованием его в этой области стала работа «*Die altosmanischen anonymen Chroniken*» (две части: текст с перечнем вариантов и переводом, Breslau, 1922 и 1925 гг.). Затем последовали заслужившая признание специалистов статья «Проблема возникновения Османской империи» (в: «*Zeitschrift für Semitistik und verwandte Gebiete*», II, 1923 г.), изданная в 1929 году староосманская хроника дервиша Ахмеда (известного также под именем Ашикпашазаде), относящаяся к XV веку. В 1914 году, после начала первой мировой войны, Ф. Гизе покинул Берлин и вернулся на должность профессора в Стамбульском университете. Когда в 1918 году, после поражения Германии и союзной с ней Османской

империи, Стамбул и его окрестности были заняты британскими войсками, Гизе как германский подданный вынужден был возвратиться в Германию. Однако преподавать в Берлинском «Семинаре» ему уже не удалось. С 1920 года до ухода на пенсию в 1936 году этот выдающийся ученый был ординарным профессором тюркологии в университете города Бреслау (ныне Вроцлав, ПНР).

После Ф. Гизе преподаванием тюркологии в «Семинаре» занялся доктор Г. Вейль, отличный знаток османско-турецкого языка, автор «Грамматики османско-турецкого языка» (*Sammlung Türkischer Lehrbücher für den Gebrauch im Seminar für Orientalische Sprachen zu Berlin. Band 1. Berlin, 1917*). Этот первый том «Собрания тюркских учебников для „Семинара“» должен был открыть новую серию учебных пособий. Организация издания этой серии, инициатива которой восходила к профессору Э. Захау и доктору Г. Вейлю, свидетельствует о большом значении, которое придавалось в то время в Германии изучению турецкого языка. «Грамматика» Г. Вейля по сравнению с учебником И. И. Манисанджяна обладала рядом достоинств. Если учебник армянского автора отличался ясностью и простотой изложения материала, то учебник Г. Вейля отражал новейшие лингвистические достижения и исследовательские методы общего языкознания применительно к преподаванию турецкого языка.

Поражение кайзеровской Германии в первой мировой войне существенно замедлило развитие научных исследований в области тюркологии, и «Грамматика» Г. Вейля, изданная незадолго до окончания войны, не получила того признания, которого она заслуживала. Поэтому Г. Вейль отказался от издания сборника упражнений и хрестоматии (с приложением словаря) текстов из турецкой литературы начала XX века, задуманных им как продолжение фундаментального учебного пособия по османско-турецкому языку.

В годы первой мировой войны турецкий язык стал основной дисциплиной в «Семинаре», и его преподавание особенно поощрялось благодаря германо-турецкому военному союзу и обязательствам, принятым Германией. В те же годы здесь работал еще один опытный преподаватель турецкого языка — Вели Бей Болланд (Вилли Болланд).

В военные годы ускоренная подготовка специалистов для работы в Турции рассматривалась как одна из неотложных задач не только «Семинара», но и всех востоковедных отделов немецких университетов. С 1910 по 1918 год немецкими издательствами было выпущено в свет множество грамматик, учебников, хрестоматий, сборников упражнений, словарей различного объема и предназначения, а также разговорников по турецкому языку. В. Болланд подготовил и издал пособие «*Praktisches türkisches Lehrbuch zu Gebrauch im Selbstunterricht und an Lehranstalten*» (Stuttgart, 1916). Этот учебник, несомненно, сыграл важную роль в форсированном обучении языку дипломатического и военного персонала, направляемого в Турцию. К учебнику В. Болланда прилагались граммпластинки с записью разговорной речи, которые представляли собой первый аудио-визуальный учебный материал по турецкому языку.

Из тюркских языков в «Семинаре», помимо турецкого, были представлены также татарский и узбекский языки, приобретавшие все большее значение. По инициативе профессора Э. Захау в MSOS в 1917 году был опубликован немецкий перевод с русского «Узбекской грамматики» М. Терентьева.

Г. Вейль и после первой мировой войны оставался в «Семинаре» (позже он работал в восточном отделе Прусской государственной

библиотеки), но вследствие угасания здесь интереса к изучению турецкого языка он обратился к другим областям тюркологии, в частности к исследованию татарского языка. Еще в годы войны им был собран языковой материал среди военнопленных, владевших татарским и русскими языками, и сделано множество грамзаписей разговорной речи, переданных затем в фонотеку Прусской государственной библиотеки. Главной сферой деятельности Г. Вейля после войны стал выпуск таких грампластинок. Он завершил эту работу изданием брошюры-приложения «Tatarische Texte nach den in der Lautabteilung der Staatsbibliothek befindlichen Originalplatten» (Berlin—Leipzig, 1930). Тексты всех сорока трех выпущенных им грампластинок приводятся в арабской графике и снабжены фонетической транскрипцией, а также немецким переводом.

Однако в 20-е и 30-е годы в «Семинаре» татарскому языку придавалось большее значение, чем турецкому: в то время там преподавал свой родной язык ученик В. Банга татарин Г.-Р. Рахматуллин (Г.-Р. Рахмети Арат), переехавший в 1933 году в Турцию.

Несмотря на то, что после 1918 года тюркология отошла в «Семинаре» и Берлинском университете на второй план, исследовательская работа в этой области продолжалась. Еще в декабре 1917 года в Берлинском университете был организован «Венгерский факультет» (Ungarische Institut), где преподавалась также тюркология. Таким образом, тюркология была представлена в университете дважды — в «Семинаре» и на «Венгерском факультете».

Приглашение Вилли Банга (Иоганна Вильгельма Макса Юлиуса Банга-Каупа) преподавать тюркологию на этом факультете было большой удачей. В. Банг родился в 1869 году в Везеле. Его любимыми дисциплинами были германистика, а также древне- и новоперсидский, маньчжурский и монгольский языки. Он слушал лекции крупных ориенталистов Генриха Леберехта Флейшера (1801—1888) и Шарля де Але (1832—1899). Его путь ученого и преподавателя начался в университете г. Лувена в Бельгии, где он работал с 1895 по 1914 год, сначала в должности приват-доцента, а затем ординарного профессора по германистике и английской филологии, по которой он достиг больших успехов. Им были изданы сорок четыре тома «Материалов для изучения старых английских драм» (1902—1914).

Начавшаяся война вынудила В. Банга вернуться в Германию, где шовинистические, антианглийские и антифранцузские настроения были очень сильны. Не имея возможности работать в области английской филологии, он занялся ориенталистикой. Вначале В. Банг был профессором турецкого языка во Франкфурте, а в 1918 году его пригласили в Берлинский университет. Занимаясь алтаистикой, «урало-алтаистикой» и древними тюркскими языками Центральной Азии, В. Банг все больше приближался к изучению турецкого языка. Начав преподавать на «Венгерском факультете» Берлинского университета, он вскоре проявил себя как один из способнейших тюркологов. Последующие шестнадцать лет его научной и педагогической деятельности в Берлине вплоть до кончины в 1934 году способствовали тому, что берлинская тюркологическая школа получила мировое признание.

В. Банг, будучи сам специалистом весьма широкого профиля, заботился о разностороннем тюркологическом образовании своих учеников. Разнообразие тематики и значительное количество его научных трудов, опубликованных большей частью в востоковедческих журналах и академических изданиях, характеризуют его как нельзя лучше. В то время не было ни одной важной тюркологической проблемы, по которой он не высказал бы своего компетентного мнения, внося во многих случаях

ясность в спорные вопросы. Излюбленными его темами, по которым он оставил многочисленные научные труды, были в основном: 1) древнетюркский и уйгурский языки; 2) проблематика среднетюркского куманского языка (команы—половцы); 3) сравнительно-историческое исследование тюркских языков. Сотрудничество с другими берлинскими учеными, интересовавшимися данной тематикой, особенно по первой теме, было очень плодотворным. В. Банг, а также Ф. В. К. Мюллер (1863—1930) и Альберт фон Ле Кок (1860—1930) дали мощный толчок лингвистическому исследованию хранящихся в Берлине турфанских рукописей. Именно эти ученые занялись расшифровкой их фрагментов, разработали ее методику. Эту работу продолжили ученики В. Банга Анна-Мария фон Габэн и Г.-Р. Рахмети (Арат).

Первые шесть выпусков «Тюркских турфанских текстов» («Sitzungsberichte der Preußischen Akademie der Wissenschaften», между 1929—1934 гг.) свидетельствуют о большом вкладе В. Банга в исследование и публикацию фрагментов текстов из раскопок Турфанского оазиса в Центральной Азии.

Дискуссию о языке куманов, известном по «Codex Cumanicus», В. Банг обогатил несколькими статьями, написанными еще до берлинского периода своей деятельности.

Сравнительно-исторические исследования по тюркским языкам (грамматические проблемы, этимологические разыскания) ученый опубликовал в 1925—1934 годах в «Ungarische Jahrbücher» под общим названием «Türkologische Briefe aus dem Berliner Ungarischen Institut». Одновременно как действительный член Прусской академии наук он пользовался правом публиковать результаты своих исследований по данной тематике также в «Sitzungsberichte» (SBAW) и «Abhandlungen» (ABAW).

Труды В. Банга и в настоящее время, спустя пятьдесят лет после его смерти, не утратили своего научного значения и представляют огромный интерес для ученых, работающих в области тюркологии.

Блестящий педагогический талант, высокая ответственность, с которой В. Банг относился к подготовке специалистов, привлекали в Берлинский университет студентов и докторантов из ряда европейских стран и Турции. Многие из них впоследствии стали ведущими тюркологами и алтаистами у себя на родине. Среди учеников В. Банга были швед Гуннар Ярринг, татарин Габдул-Рашит Рахмети (Арат), караим Ананиаш Зайончковский (из Польши), татарка Саадет Шакир-Исхаки (в Турции она называла себя Саадет Чагатай), караим Якуб Шинкевич (из Польши), финн Мартти Рясянен, болгарин Борис Недков, венгры Лайош Катона и Маргит Палло, а также турки Тахсин Бангу-оглы и Садеттин Булуч. У В. Банга учились и многие известные немецкие тюркологи, в том числе уже упоминавшаяся выше Анна-Мария фон Габэн (род. 1901 г.) и Карл Генрих Менгес (род. 1908 г.).

Советский тюрколог из Узбекистана Сайора Хасанханова в своей диссертации писала: «За 16 лет работы В. Банга в Берлинском университете (1918—1934) им было подготовлено новое поколение тюркологов из разных стран. При этом мы встречаем у его учеников широкий диапазон исследовательских направлений. Это позволяет заключить, что В. Банг давал им свободу выбора тематики в соответствии с их интересами. Таким образом, тюркологическая наука развивалась и вширь и вглубь. Ученики В. Банга во многом дополняли друг друга в своей исследовательской деятельности, что позволяло вести изучение тюркских языков в их совокупности. Как известно, решающая роль в созда-

нии и развитии научной школы принадлежит ученому, основавшему и возглавлявшему ее. В. Банг остался в памяти своих учеников блестящим исследователем и педагогом, умевшим находить творческий контакт со своими коллегами и учениками»¹.

Нельзя не согласиться и со следующим высказыванием автора: «Имя В. Банга вошло в историю тюркологии не только благодаря его глубоким исследованиям отдельных тюркских языков, проведенным с должной систематичностью и тщанием, но также благодаря созданию им Берлинской тюркологической школы» (стр. 93).

После смерти В. Банга кафедра долго оставалась без руководителя. В дальнейшем работу ее возглавила доктор А. фон Габэн, к тому времени уже опубликовавшая ряд научных трудов. Еще в 1934 году она преподавала «тюркское языкознание», а в 1938—1945 годах работала в должности доцента по этой же дисциплине. Ее важнейшая публикация тех лет — «Altürkische Grammatik» (13 том «Porta Linguarum Orientalium» — из серии учебников по восточным языкам, издававшихся Рихардом Гартманом в Лейпциге, 1941; 2-е изд. 1950). Эта монография подводит итог научно-лингвистическим исследованиям автора древнетюркских и уйгурских текстов и является образцом специального исследования в области тюркологии. Она выдержала уже четыре издания.

Хотя во время фашистской диктатуры в Германии интерес к Турции вновь усилился, что, в свою очередь, подняло престиж тюркологии в «Семинаре восточных языков» и других учебных заведениях, однако в это же время политика германского фашизма, расовые преследования нанесли непоправимый урон науке страны. Многие признанные ученые были лишены права преподавания, их преследовали за антифашистские убеждения, подвергали аресту: многие были вынуждены эмигрировать. В числе преследуемых были профессора К. Г. Менгес, Ф. Бабингер, Г. Вейль и др.

Берлинский университет вновь открылся 29 января 1946 года.

Вскоре директор востоковедческого института Академии наук профессор Рихард Гартман объявил о возобновлении занятий по тюркологии. После 1950 года доктор Хейнц Гизеке, сотрудник этого же института, стал вести занятия по тюркологии для немногих интересующихся (до 1961 г.).

Положительные результаты дало преобразование отделения иранских и кавказских языков (основано в 1953 г.) при философском факультете в ближневосточное отделение. Его руководитель профессор, доктор Генрих Ф. Юнкер, специалист по иранистике и общему языкознанию, занимался и алтайскими языками. В течение многих лет он вел курс корейистики на философском факультете. Под руководством Г. Ф. Юнкера в 1959 году впервые была успешно защищена диссертация по тюркологии (Дорис Шульц «Выражение понятий современной общественной жизни в узбекском языке»). Д. Шульц стала затем первым дипломированным преподавателем тюркологии на ближневосточном отделении (до начала 1970 г.).

Стремясь возродить берлинскую тюркологическую школу, Г. Ф. Юнкер поручил своему коллеге профессору, доктору Генриху Симону (арабисту и гебраисту) выявить в университетах и академиях социалистических стран возможность приглашения высококвалифицированного пре-

¹ S. Chassanchanowa. Zur Geschichte der Berliner Turkologie in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Die Erschließung der alttürkischen Turfantexte — W. Bang — Kaup und seine sprachwissenschaftliche Schule. Berlin, Humboldt — Universität, 1979, стр. 113.

подавателя-тюрколога для работы в университете им. Гумбольдта в Берлине. Министерство высшего образования Венгерской Народной Республики удовлетворило эту просьбу и направило в Берлин молодого будапештского ученого доктора Георгия (Дёрдя) Хазаи (род. 1932 г.), ученика знаменитого венгерского тюрколога Юлиуса (Дьюлы) Немета.

Доктор Г. Хазаи прибыл в Берлин в декабре 1963 года и приступил к организации преподавания тюркологии. Отныне Берлинский университет вновь стал готовить тюркологов.

Почти два десятилетия профессор Г. Хазаи (это звание было ему присвоено в 1977 г.) преподавал тюркологию в Берлинском университете — сначала на ближневосточном отделении, а затем в «Отделе Западной Азии» сектора азиатских наук. Много сил и энергии он отдал подготовке молодых научных кадров. При его активной помощи и участии в ГДР успешно защитили диссертации: Петер Циме, Зигрид Клейнмихель, Гейди Штейн, Ингрид Варнке, Хельмут Новка, Татьяна Мёкель и Мартина Эйххорн, а также два молодых иностранных тюрколога (Сайора Хасанханова из Ташкента и Валерий Стоянов из Софии, направленные в Берлин на стажировку).

Когда Г. Хазаи вышел в 1982 году на пенсию и вернулся в Венгрию, его ученики и коллеги восприняли это с большим сожалением. Он обладал глубокими знаниями по древнетюркской филологии, османистике, особенно истории турецкого языка, по палеографии, эпиграфике и дипломатике, а также по тюркологической библиографии.

В мае 1982 года ассистент доктор Хельмут Новка стал временно исполняющим обязанности руководителя специального сектора тюркских языков и тюркской литературы отдела Западной Азии Берлинского университета.

Перевод с немецкого И. Г. Добродомова.

РЕЦЕНЗИИ

К. М. МУСАЕВ. ЛЕКСИКОЛОГИЯ ТЮРКСКИХ ЯЗЫКОВ

ИЗД-ВО «НАУКА», М., 1984, 229 стр.

Рецензируемая работа К. М. Мусаева является итогом многолетних изысканий автора в области тюркской лексикологии¹. В ней обобщен обширный материал, поставлен и разрешен ряд важных проблем тюркского языкознания. «Современная лексикология, как и тюркологическая наука в целом, больше развивается вширь, но ей в значительной мере не достает глубины исследования», — отмечает К. М. Мусаев во «Введении» своей книги (с. 4). Автор четко очерчивает круг вопросов и проблем, которые ждут скорейшего рассмотрения и разрешения или, по крайней мере, более или менее полной трактовки. В этой связи правомерно, на наш взгляд, высказывание автора о том, что особенно ощутимы в тюркском языкознании пробелы в изучении «так называемой содержательной стороны лексики» (с. 4), семантики тюркского слова (с. 6) и корня (с. 82—99), «лексико-семантической дифференциации и интеграции тюркских языков» (с. 15—32), «семантических схождения и расхождения тюркских языков», «ареальных лексических и семантических изоглосс» (с. 14) и т. д. Следует отметить, что К. М. Мусаев не ограничивается только констатацией того, что предстоит сделать, а демонстрирует на богатом материале те или иные особенности лексико-семантической эволюции тюркских слов на обще- и межтюркском уровнях. Так, например, произведенный им тщательный анализ семантики слов, обозначающих названия дерева в тюркских языках (с. 18—25), позволяет сделать вывод об исторической (этимологической) гомогенности значений «возвышенность», «гора» ~ «ее северный склон, поросший лесом» ~ «север, север горы, возвышенности», «лесистая часть возвышенности, горы» ~ «лес (на склонах гор)» ~ «лес», с одной стороны, и «лес на

склонах гор» ~ «периферия», «окраина» (для степняков), с другой. Причем автор приводит интересные в плане тюркской сравнительной морфонологии случаи лексикализации, семантической дифференциации фонетических вариантов слова в рамках одного или группы языков [ср., например, отмеченное автором распределение в каримском языке: *dağ* 'лес' и *tav* 'гора', «что, по-видимому, отражает его более поздние связи с другими тюркскими языками» (с. 22) и т. д.]. Общий вывод автора о том, что «лес в разных ареалах обозначается различными способами» (с. 23), свидетельствует о нетипичности леса для тюркской прародины. В то же время следует согласиться с тем, что «тюрки, употреблявшие его (то есть слово, обозначающее «лес». — А. К., Е. К.), жили на северной стороне гор, где растет лес, поэтому название горы использовалось и для обозначения леса» (с. 24). Семантические аргументы порою позволяют нам выделить редкие типы фонологических соотношений в тюркских языках, требующие дальнейшего изучения. Сделанное на основе семантических показателей предположение об исходной близости значений «горы, покрытые лесом, чернь» (орхоно-енисейское, тувинское, алтайское, хакасское, шорское, телеутское) и «место, покрытое сплошь кустарником, густой лесной массив», в свою очередь, указывает на важный (конечно, в случае подтверждения его исторической реальности) пример корреляции стяженной в древних языках (!) и оригинальной, первичной в современных (или растяженной, в случае архаичности первой из сопоставляемых форм, что менее вероятно) форм слов: *йыш* ~ *чыш* ~ *йыс* и т. д., с одной стороны, и **жыныс*, с другой (с. 23).

На основании фронтального обозрения по вертикали (диахронии) и горизонтали (синхронии) автор заключает, что, например, название овцы для всех тюркских языков всех периодов всегда выражалось одной лишь центральной формой *кой* «с незначительными фонетическими отклонения-

¹ См.: К. М. Мусаев. Лексика тюркских языков в сравнительном освещении. М., 1975 и целый ряд статей, напечатанных в различных изданиях.

ми»: узбекское *куй*, хакаское, тувинское *хой*, в юго-западных или огузских языках *гойун*, *койун*, «что, однако, нельзя рассматривать как лексическую дифференциацию или отдельный лексический ареал» (с. 25). В то же время на основе чисто лексических данных (с. 26—27) устанавливается, что названия коров и свиней не совпадают в тюркских языках, и это, несомненно, обусловлено тем, что данные домашние животные не использовались в хозяйстве древних тюрков-кочевников.

Автор выделяет ряд поисковых проблем и направлений, в том числе изучение с целью обнаружения общих глосс с тюркскими языками языков индейцев Америки, древнейших письменных памятников—санскритских, тибетских, древнеперсидских, пехлеви, согдийских, латинских, а также на аккадском языке и языке Библии и т. д. (с. 11).

К. М. Мусаев пишет, что «лексика казахского языка, соседствующего со многими тюркскими языками, окружающими его длительное время, обнаруживает много общего с диалектными словами этих языков» (с. 45). В этнолингвистическом плане это может свидетельствовать о проникновении отдельных казахских племен или родов на сопредельные территории, их частичной ассимиляции, а также о вероятности культурных, торговых связей между носителями этих языков и диалектов. Автор отмечает, что картина диалектного разнообразия древних тюркских языков «во многом близка к современному членению тюркских языков и их диалектов, хотя с тех пор прошло почти тысячелетие...» (с. 63).

В книге подчеркивается, что в настоящее время основной акцент в тюркологических сравнительно-исторических исследованиях делается на языки огузской (азербайджанский, турецкий, туркменский) и карлукской (узбекский и уйгурский) групп, а также чувашский, якутский и хакаский, то есть на языки, непосредственно контактировавшие с нетюркскими ареалами. Незаслуженно остается в тени кыпчакский массив — центральный как по своей географии, так и по отношению его словарного базиса и других ярусов языка к тюркскому праязыку. По-видимому, назрела необходимость создания фундаментальных исследований общекипчакского плана и выявления пракипчакского слоя лексики в тюркских языках. В этой связи мы солидарны с точкой зрения К. М. Мусаева о том, что «когда мы говорим о кыпчакских языках, то надо отталкиваться от современных языков и идти в глубь веков; типичными современными кыпчакскими языками являются казахский и каракалпакский, отчасти ногайский (в нем больше инноваций). Неправоммерно прямое отождествление древних карлуков с современными уйгурами или узбеками, эта точка зрения не учитывает сложного этногенетического процесса в истории тюрко-

язычных народов» (с. 74). На основе своих наблюдений и обзора имеющихся мнений автор, на наш взгляд, справедливо констатирует «невозможность точного соотношения языков памятников ни с одним из современных тюркских языков» (с. 34). Вообще, пользующееся в последнее время определенной популярностью «сопоставление материалов памятников древнетюркской письменности с данными современных тюркских языков, требует исключительной осторожности и убедительной аргументации...» (с. 64, см. также с. 67, 71—72, 80—81 и др.). «Поэтому, — пишет К. М. Мусаев, — при сопоставительном изучении лексики современных тюркских языков с данными этих памятников главная цель должна заключаться в стремлении выявить общетюркские, ареальные явления и индивидуальные особенности как памятников, так и соответствующих тюркских языков и их памятников отдельных периодов» (с. 75). В этом плане требует особого рассмотрения заслуживающее серьезного внимания положение о том, что «между современными тюркскими литературными языками имеется больше расхождений в лексике, чем между современными литературными языками, с одной стороны, и языками древнетюркских памятников — с другой» (там же).

Как известно, сам строй тюркских языков предопределил релевантность корня как в структуре тюркской словоформы, так и в виде отдельной самостоятельной лексемы. Несмотря на это, проблема структуры или структурности, составленности или монолитности тюркского моносиллаба до сих пор не решена. Существуют диаметрально противоположные точки зрения: теория об изначальности закрытосложных структур Г. Вамбери, В. В. Радлова, Н. А. Баскакова и мнение об их ингредиентности — Э. В. Севортяна, А. Н. Кононова, А. М. Шербака и других. Автор рецензируемой книги в этой связи пишет: «Структура корня в древнетюркских памятниках и современных тюркских языках имеет одни и те же типы, что говорит о консервации тюркскими языками древних типов структуры корней в течение тысячелетия и, по-видимому, о сохранении современными тюркскими языками структуры пратюркского корня» (с. 91). Следует, по нашему мнению, согласиться с К. М. Мусаевым также в том, что «первичные тюркские корни не были однотипными, а состояли из нескольких типов» (с. 91—92).

Своей информативной насыщенностью особенно выделяются в книге разделы о древнейших индоевропейско-тюркских контактах (с. 128—131 и др.), дравидийско-тюркских лексических связях (с. 147—153), тюрко-кавказских параллелях (с. 153—162). Действительно, «хотя об истории тюркоязычных племен написано немало, вопрос о древнейших связях тюркских племен с другими племенами и народами до

сих пор не разработан и окончательно не решен» (с. 148). Доботно выполненные главы по контактам тюркских языков с нетюркскими языками, как нам представляется, могут послужить основой для дальнейших планомерных изысканий тюркологов в данной области.

В обзорном плане написаны разделы «Развитие лексики тюркских языков в советскую эпоху», «Топонимика», «Антропонимика», содержащие целый ряд интересных наблюдений и ценных высказываний [ср., например, замечание автора о том, что «принцип понятности и прозрачности структуры, по-видимому, не всегда может безошибочно указать на период возникновения топонима» (с. 192—193)].

В книге имеются, к сожалению, некоторые досадные огрехи, в том числе опечат-

ки, стилистические неряшливости, отдельные противоречия и т. п.

Однако, несмотря на частные недостатки, рецензируемая монография представляет собой полное и исчерпывающее описание круга тюркских лексикологических проблем, часть которых впервые ставится автором. Рецензируемая книга содержит целый ряд новых идей в области развития тюркской лексикологии, теории этимологии и семасиологии, контактологии и этнолингвистики. К. М. Мусаев в своей работе определил сферу актуальных вопросов тюркской лексикологии, сформулировал гипотетические поисковые задачи в этой области языкознания, предложил надежную методику лексико-семантического анализа тюркской лексики.

А. Т. Кайдаров, Е. З. Кажобеков

Ф. АБДУРАХМОНОВ, А. РУСТАМОВ. НАВОИЙ ТИЛИНИНГ ГРАММАТИК ХУСУСИЯТЛАРИ

УЗБЕКИСТОН ССР «ФАН» НАШРИЙИ, ТОШКЕНТ, 1984, 160 стр.

Изучение языковых особенностей произведений Алишера Навои, его творческого наследия всегда занимало особое место в узбекской филологии и тюркологии. В течение почти пяти веков язык произведений Алишера Навои являлся эталоном для узбекских поэтов, лексикографов и филологов. Поэтому интерес к его изучению вполне закономерен. Однако, будучи основным материалом во всех описаниях фонетического и грамматического строя староузбекского языка, его лексической системы, языковое наследие Навои, к сожалению, все еще остается недостаточно изученным. До сих пор не создано фундаментальных обобщающих работ по грамматике и лексике произведений великого поэта. В последние годы, правда, появилось несколько работ, посвященных этим проблемам¹. К ним относится и рецензируемая монография «Грамматические особенности языка Навои», содержание которой несколько шире ее названия; в книге исследуются не только морфологические, но и фонетические особенности языка поэта.

Изучение фонетики произведений Навои авторы начинают с анализа фонетического членения прозаической и поэтической речи. Здесь наряду с общепринятыми единицами акцентного и фонетического членения речи (слог, такт и т. д.) вводится новое понятие *жумла*, под которым понимается семантико-фонетическое целое, отделенное паузой. *Жумла* может совпадать или не совпадать с предложением (с. 7). В рифмованной прозе (*садж*) *жумла* может охватывать, по мнению авторов, несколько предложений (с. 9), а в поэзии, как правило, равна двустопию (*бейту*) и не зависит от количества предложений, их завершенности или незавершенности (с. 8). Выделение такой акцентной единицы для восточной прозы и поэзии, основывающихся на метрических системах, видимо, необходимо и правомерно.

Авторы выделяют энклитические (неударные) единицы, не подчиняющиеся также законам сингармонизма. Как энклитики классифицируются не только частицы, послелоги, союзы, но и элементы *-дэк*, *-мэн*, *-сэн*, *-дур/-тур*, рассматриваемые обычно как аффиксы; *-дур/-тур* классифицируется как связка, а *-дэк* как послелог.

В монографии устанавливается наличие девяти гласных фонем (*и, и:, э, а, о, у, ү, о, ө*) в языке произведений Навои. Выделение долгой гласной (*и:*) основывается на

¹ См.: «Алишер Навоий асарлари тилининг изоҳли луғати». Тўрт томлик. Т. I, Тошкент, 1983; т. II — 1983; т. III — 1984; Б. Бафоев. Навоий асарлари лексикаси. Тошкент, 1983.

опозиции тюркских слов и арабо-персидских заимствований типа *қариб* 'старев' и *қари:б* 'близко' (с. 14). Точно так же выделение фонемы (ɔ) (классифицируется как открытый негубной гласный заднего ряда — с. 4), вошедшей, по мнению авторов, в узбекский язык под воздействием таджикского языка (с. 15), основывается на такой же оппозиции. На наш взгляд, подобная фонологическая оппозиция тюркских слов по отношению к заимствованиям действительно имеется, и количество таких противопоставлений значительно. Однако по материалам Алишера Навои, в тюркских словах долгота и краткость (u), а также фонемы (a) и (ɔ) не имели фонологической значимости. Об этом недвусмысленно пишет сам Алишер Навои в своем известном трактате «Суждение о двух языках»². О неразличении в тюркских словах звуков (a) и (ɔ) пишут и авторы монографии (с. 15). Однако они не определяют характер самой фонемы (ɔ), так как в арабской и персидской орфографиях через *ا* (алиф) и знак *мадда* передается долгий (a:), а буква *ھ* (хэ) и *фатха* передают краткий (a). Исследования последних лет показали, что все средневековые филологи высказывали единое мнение, определяя (ɔ) как *алиф мамдуд* 'алиф с маддой' — «долгий (a)»³. Вопрос о том, имеем ли мы дело с прототипом современного узбекского (o) или с долгим (a:), остается нерешенным. Что касается мнения авторов о завершении к XV веку конвергенции (bi) и (u) (с. 14) и об отсутствии фонологических различий между (a) и (ə), то оно, на наш взгляд, вполне обосновано.

В разделе, посвященном согласным, характеризуются двадцать пять согласных, особенности реализации каждого звука в различных позициях, отмечаются переходы (v):(m):(b), (n):(p), (t):(d), (c):(q), (r):(y) (с. 16—25). В монографии констатируется наличие твердых и мягких вариантов фонем (t), (c), (n) и приобретение фонологической значимости согласными (k) и (q), (g) и (f), которые некогда являлись вариантами одной фонемы. Приобретению фонологической значимости противопоставлений (k) и (q), (g) и (f), как утверждают авторы, способствовали наряду с конвергенцией (bi) и (u), (a) и (ə) также заимствования из арабского и персидского языков (с. 24).

В заключительном разделе, посвященном фонетике, авторы отмечают сохранение губного и небного притяжений (сингармонизма) в языке произведений Навои, рассматривают особенности их проявления и случаи отступления.

Основная часть рецензируемой книги

(с. 31—160) посвящена описанию морфологических особенностей языка Навои. Авторы анализируют особенности функционирования имен собственных и нарицательных, имен лица и неллица, категорий множественности, принадлежности и падежа по исследуемому материалу. У имен существительных выделяется особая категория состояния (определенности/неопределенности). Если учесть, что язык Алишера Навои испытал сильное влияние арабского и персидского языков не только в лексике, но и в морфологии и синтаксисе, то выделение такой категории с собственными грамматическими показателями представляется вполне обоснованным. В качестве показателя неопределенности указывается иранская энклитика *-ɔ/-йэ* (*йайи ваҳдат* 'яй единичности'), а показателем определенности выступает иранский указательный *йи* (*йайи ишара*) — 'долгий (u:)', который классифицируется то как послелог, то как частица (с. 35). Наряду с иранскими элементами в монографии подробно рассматриваются собственно тюркские средства выражения определенности/неопределенности (артиклевая функция *бир*, формы основного, винительного и родительного падежей, аффиксы принадлежности и др.).

В разделе, посвященном множественному числу, наряду с функциями аффикса *-лар* авторы очень подробно рассматривают образование и функционирование арабских форм правильного и ломаного множественного числа, формы двойственности, широко распространенных в языке произведений Навои, и особо выделяют пятнадцать наиболее употребительных моделей ломаной множественности (с. 43—48).

Детально рассматривая особенности образования и функционирования форм падежа, принадлежности, авторы отмечают, что в эпоху Навои инструменталис на *-* (*-*) *и* уже не употреблялся. Формы обращения на *-ɔ* и предельности на *-ғача*, по мнению авторов, нельзя классифицировать как падежные. Энклитика *-ɔ* рассматривается как частица, а *-ча* в составе *-ғача* — как послелог (с. 52). В заключительных разделах о частицах речи (с. 153—156) детально рассматривается использование послелогов *-ча* и *-дэж* в языке произведений Навои.

Подробно освещается в работе словообразование имен существительных (с. 68—80) и прилагательных (с. 84—88). Монография содержит обширный материал по употреблению словообразовательных моделей арабского и персидского языков в староузбекском языке.

Значения залоговых форм, образование и функционирование причастий, деепричастий, наклонений, временных форм индикатива, вспомогательные глаголы рассматриваются в разделе о глаголе (с. 97—140).

Рецензируемая монография иллюстрирована примерами из произведений Навои, приводимыми в транскрипции с указанием первоисточников. Для облегчения понима-

² Алишер Навоий. Асарлар. Т. XIV. Тошкент, 1967, стр. 114.

³ Э. А. Умаров. О гласных староузбекского языка XV века. — «Советская тюркология», 1983, № 5.

ния текста архаизмы снабжены подстрочными толкованиями. При описании фонетико-морфологических особенностей языка Навои авторы широко пользуются материалом не только произведений поэта, но и филологов последующих эпох, в частности данными Мирзы Махдихана, проводят сравнительные экскурсы.

Монография Г. Абдурахманова и А. Рустамова дает подробное представление о фонетико-морфологических особенностях языка произведений Алишера Навои и является полезным руководством по изучению староузбекского языка.

Х. Г. Нигматов

Д. Б. РАМАЗАНОВА. ФОРМИРОВАНИЕ ТАТАРСКИХ ГОВОРОВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ БАШКИРИИ

ТАТАРСКОЕ КНИЖНОЕ ИЗД-ВО, КАЗАНЬ, 1984, 192 стр.

В татарской диалектологии установилась традиция исследовать говоры в связи с историей их носителей. При этом для определения этнической принадлежности носителей говора диалектологи привлекают всю совокупность данных не только по языкознанию, но и по другим смежным наукам. На такой методической основе написана и рецензируемая книга Д. Б. Рамазановой, посвященная описанию фонетических и грамматических особенностей говоров татар, проживающих в юго-западных районах Башкирской АССР, на территории, расположенной к западу от среднего течения реки Белой до линии Уфа-Туймиза на севере и до границ ТАССР (на востоке) и Оренбургской области (на юге). Автор во время экспедиции общей продолжительностью 13,5 месяцев обследовала 116 населенных пунктов в 17 районах юго-западной БАССР. Указанные говоры изучались по определенной сетке (12—15 км, иногда и 6—7 км) на основе «Программы по собиранию материалов для Диалектологического атласа татарского языка» путем непосредственного наблюдения за разговорной речью населения на местах и записей ее в транскрипции или на магнитную ленту. Таким образом, Д. Б. Рамазановой удалось собрать обширный фактический языковой материал, который анализируется ею в сравнении с говорами татарского языка и с другими тюркскими языками, прежде всего с башкирским.

Необходимо отметить, что выводы автора подтверждают установившееся в татарском языкознании мнение о месте этих говоров в диалектной системе татарского языка. Во «Введении» книги указывается, что татарские говоры юго-западной Башкирии давно привлекали внимание исследователей. В конце XIX века такие известные ученые, как А. Г. Бессонов и Н. Ф. Катарнов, подчеркивали идентичность говора тептярей и крещенных татар указанного региона и близость его к «казанско-татар-

скому наречию», что в дальнейшем не подвергалось сомнению.

На юго-западе Башкирии Д. Б. Рамазановой выявлены два татарских говора, относящиеся к двум основным диалектам татарского языка: белебеевский подговор мензелинского говора среднего диалекта и стерлитамакский говор мишарского диалекта. Автор подчеркивает близость белебеевского подговора к татарскому литературному языку, хотя по своим ведущим диалектным особенностям он совпадает с мензелинским говором. Применение метода лингвистической географии позволило автору установить ослабление или исчезновение на данной территории специфических особенностей мензелинского говора (интердентального *d*, дифтонга *-ай, -эй*, формы на *-малы*, послелога *өчөнгә** и др.), уступивших место их литературным эквивалентам. Кроме того, данный подговор характеризуется заметным влиянием мишарского диалекта (*минен* 'мой', аффикс *-гыны*, инфинитив на *-ырга*, спряжение модального слова *кирек* и др.).

Стерлитамакский говор испытал сильное влияние среднего диалекта татарского языка, а в ряде случаев и башкирского языка, о чем свидетельствует системное исследование его особенностей в рецензируемой книге. Анализ особенностей говора ведется автором в систематическом сравнении с мишарским диалектом, особенно с теми его говорами, процесс формирования которых происходил под воздействием среднего диалекта (чистопольский, байкибашевский и др.). Особый интерес представляют при этом контаминированные варианты вспомогательного глагола синонимичных форм выражения внутреннего желания на *-асы килә* и на *-агы кели: кели//кили*. Стерлитамакский говор заимствовал некоторые

* В рецензии сохраняется транскрипция автора книги.

особенности, характерные для соседнего мензелинского говора: случаи употребления дифтонга *-ай, -эй*, интердентального *d*, соответствия *и ~ у* (*буйына* вм. *буйына* 'всю, весь' и т. п.), *э ~ и* (*кабан* вм. *кибан* 'стог' и т. п.), аффикса многократности действия (*-ыңқыра*) и др.

Несмотря на то, что в течение длительного времени данный говор находился в контакте со средним диалектом татарского языка и башкирским языком, он продолжает сохранять свои специфические черты, причем, как и следовало ожидать, обнаруживается устойчивость, в основном фонетического и грамматического уровней: открытый *a*, заднеязычные *k, g, x*, монофтонгизация дифтонга *-эй*, оформление 1-го лица единственного числа повелительного наклонения, характерные для мишарского диалекта варианты аффиксов причастий и деепричастий (*-гына, -гачин, -йогора йери* и т. п.), варианты *-нын* или усеченные формы родительного падежа местоимений, сложные аффиксы пространственных падежей местоимений (типа *ансрен* 'ему'), ряд местоимений, послелогов, указательных частиц и т. п.

В целом исследование татарских говоров юго-западной Башкирии проводится автором на основе фактического материала (о чем убедительно свидетельствуют и образцы текстов в приложении), и поэтому выводы о месте этих говоров в диалектной системе татарского языка представляются правомерными.

Отдельная глава монографии посвящена этногенезу носителей указанных говоров.

Началом истории заселения западной Башкирии татарами Д. Б. Рамазанова, основываясь на трудах Р. Г. Кузеева, считает булгарский период (XIII—XIV вв.). Генетическая общность с племенами Булгарского объединения усиливается во времена Казанского ханства (XV—XVI вв.). Автор, на наш взгляд, справедливо отмечает, что основы общности языка, духовной и материальной культуры татароязычного населения Поволжья и современной западной Башкирии были заложены именно в эти периоды. Как свидетельствуют архивные источники и богатая литература по истории края, падение Казанского ханства вызвало мощное этническое проникновение поволжских татар в Приуралье. Под «татарами» при этом понимается оседло-земледельческий булгаро-кыпчакский этнос, сформировавшийся в Среднем Поволжье еще до монгольских завоеваний. Так, Р. Г. Кузеев отмечает, что в первой половине XVI века на территории современной юго-западной Башкирии жили башкиры и татары, но население было малочисленным. На эту обширную территорию отдельными группами или целыми деревнями переселились татары и другие народности, бывшие под протекторатом Казанского ханства.

Как считает Д. Б. Рамазанова, обстоя-

тельства этнического формирования татар на территории современной Западной Башкирии в «русский период» были предопределены своеобразным положением ее в составе Русского государства в течение нескольких веков: а) к XVI веку здесь, в отличие от Восточной Башкирии, понятие «род» означало «не кровное родство, а совместное пользование общеродовой территорией» (Р. Г. Кузеев); б) XVI—XVIII века характеризуются раздроблением в данном регионе земельных угодий на поветы и жеребен, находившиеся в распоряжении отдельной семьи; в) в Западной Башкирии существовал припуск различных видов (начиная с арендного владения, владения наравне с вотчинниками до покупки земли); г) после присоединения к Русскому государству в «Башкирии» сохранялись старые порядки в управлении и землевладении.

Переселение татар на территорию Башкирии рассматривается в книге Д. Б. Рамазановой с различных точек зрения: социально-экономических, политико-государственных и др. Автор раскрывает общественно-экономические предпосылки, обусловившие массовую миграцию крестьян из Среднего Поволжья в восточные районы страны. Это, прежде всего, неустойчивое социальное положение народов Поволжья (государственное землевладение и более тяжелый религиозно-колониальный гнет) и сравнительно лучшие условия жизни в «Башкирии» (вотчинное землевладение и несколько облегченный яsak); богатство и в то же время относительно малая заселенность Приуралья. Вопросу о бегстве податного населения в книге также уделяется довольно большое внимание. На основе обнаруженных архивных документов автору удалось показать преобладание на указанной территории татар, причем татар-выходцев из Казанского и Свияжско-Гузевского, что подтверждается и языковыми материалами, представленными во второй главе книги.

Уже в первой половине XVIII века татары стали численно преобладающим этносом во всей Западной Башкирии. В документах и исследованиях XVIII века указывается, что к середине этого века произошло увеличение численности башкир чуть ли не вдвое за счет проникновения в их среду представителей других народов: татар, чувашей, марийцев, русских.

В работе впервые сделана попытка рассмотреть до сих пор неизвестные стороны проблемы устройства пришлого населения на землях «Башкирии». При этом автор использует документальные источники — архивные материалы, анализирует имеющуюся историческую литературу, посвященную Башкирии и сопредельным с ней территориям; учитываются также легенды о происхождении отдельных сел и другие материалы.

Д. Б. Рамазановой удалось выявить, как

различные условия расселения и устройства пришлого населения на новых землях стали причиной формирования различных социальных категорий татарских переселенцев, которые в то же время составляли этническую общность и являлись частью татарского народа. На основе архивного материала автор показывает, что существовала возможность перехода из одной категории в другую (запись в бобыли, переход в башкиры и т. п.). В этом плане в книге найдено отражение истории формирования таких социальных и сословных слоев, как *припущенники, бобыли, мишари, башкиры, тептяри, служилые татары, ясачные татары, казанцы или казанские люди, новые башкиры, алатырцы, мецане*.

Д. Б. Рамазанова доказывает идентичность говора тептярей, «башкир», казанцев, казанских людей, ясачных и других групп — представителей среднего диалекта и идентичность говора тептярей, «башкир», алатырцев, тюменцев, мишарей, крестьян и

других — представителей мишарского диалекта. Пути формирования говоров среднего и мишарского диалектов на юго-западной территории современной Башкирии прослеживаются впервые в связи с историей формирования этнических групп носителей этих диалектов. Это — одно из достоинств книги.

В конце монографии помещен справочный материал: список населенных пунктов, обследованных автором и включенных во второй том Диалектологического атласа татарского языка, карта-схема распространения татарских говоров в юго-западных районах Башкирии. В виде отдельного приложения даны образцы текстов обоих говоров.

Исследование Д. Б. Рамазановой, несомненно, представляет интерес не только для татарского и башкирского языкознания, но и для тюркологии в целом.

С. Х. Алишев, Р. Г. Ахметьянов

НУРМӨХӘММӘТ ХИСАМОВ. БӨЕК ЯЗМЫШЛЫ ӘСӘР

ТАТАРСТАН КИТАП НӘШРИЯТЫ, КАЗАН, 1984, 336 стр.

Поэма «Кысса-и Йусуф» вот уже полтора века привлекает внимание востоковедов. Высказывания ученых об этом произведении часто весьма противоречивы. Дело в том, что в большинстве этих исследований обычно поднимается вопрос о родине памятника.

Вместе с тем известно, что поэма Кул 'Али оказала влияние на развитие литературы многих тюркских народов, имеющих древние письменные традиции. Огромную роль поэма сыграла в истории и татарской литературы.

К серьезному литературоведческому анализу «Кысса-и Йусуф» впервые приступил татарский литературовед Нурмухаммет Хисамов. В 1979 году была опубликована его монография «Поэма „Кысса-и Йусуф“ Кул 'Али», а недавно в Казани на татарском языке вышла его рецензируемая книга «Бөек язмышлы әсәр» («Поэма великой судьбы»). Во введении этой книги Н. Хисамов дает критический обзор результатов изучения творчества Кул 'Али в отечественной и зарубежной тюркологии, особо отмечая при этом труды татарского ученого Джавада Алмаза.

При изучении таких произведений, как «Кысса-и Йусуф», важное значение имеет метод исследования. Текстологическая неразработанность памятника, сокращения

при его переписке, изменения, внесенные в текст в разное время переписчиками, создают большие трудности для исследователя. Изучая памятник, Н. Хисамов сопоставил шестнадцать рукописей, переписанных в разное время, что позволило ему отобрать варианты, наиболее полно соответствующие идейно-эстетическим принципам и поэтическому стилю Кул 'Али. Воссоздание во всей полноте эпизода с арабским купцом из Ханаана и описания дворца Зулейхи, установление имен детей Ибн-Иамина и определение их роли в художественной ткани произведения — вот лишь некоторые итоги текстологической работы, выполненной автором монографии. Следует подчеркнуть, что при переложении отрывков древнего текста на современный татарский язык автору удалось сохранить верность содержанию и поэтическую красоту оригинала.

История Иосифа и его братьев на Востоке и вообще в мировой литературе легла в основу многих произведений, созданных на протяжении столетий. Естественно, для выявления доли оригинального творчества тюркоязычного поэта в трактовке этого сюжета автору было необходимо сопоставить многочисленные памятники на разных языках. Н. Хисамов выявил и сопоставил эти памятники в их исторической

последовательности. Тщательно сравнив произведения Кул 'Али с «Великим Тефсиром» Табари (IX век), поэмой «Иусуф и Зулейха» Фирдоуси (X век), прозаическим сочинением гератского ученого Абдалаха Ансари «Анис ал-мюридин ва шамс ал-маджалис» («Друг мюридов и солнце собраний»), персидским «Кыссас ал-анбия» («Сказания о пророках — XII—XIII вв.), автор монографии пришел к заключению, что основой поэмы Кул 'Али явилось сочинение Ансари. Это — один из важнейших выводов Н. Хисамова. Автор попутно высказывает интересные суждения о произведениях тюркских и персидских поэтов, обращавшихся к сюжету о приключениях Иусуфа после Кул 'Али. Например, он доказывает, что основным источником поэм «Иусуф и Зулейха» турецкого поэта XIII века Шайяда Хамзы и персидско-таджикского поэта XV века Абдурахмана Джами был также «Анис ал-мюридин...».

Главное внимание Н. Хисамов уделит раскрытию идейно-художественного содержания поэмы. Обширный исторический, этнографический, лингвистический и фольклорный материал подвергнут им тщательному литературному анализу.

В первой главе рецензируемой книги «Образ Правдивого Иусуфа и народность идей» социально-гуманистическая позиция Кул 'Али, народность его творчества раскрываются в тесной связи с образом главного героя поэмы. Тематическую основу произведения, по мнению Н. Хисамова, определяет не тема любви, как это считалось до сих пор, а отношения отца и сына. Данное предположение перекликается с высказываниями Е. Э. Бертельса и Э. Р. Рустамова о поэмах Фирдоуси и Дурбека. Центральную проблему «Кысса-и Иусуф» автор определяет как проблему отношения власти к народному благоденствию и раскрывает демократический подход Кул 'Али к ее решению. Тюркский поэт отстаивает необходимость выдвигания правителя из народа, что соответствовало интересам крестьянских масс в эпоху феодализма.

Автор монографии раскрывает социально-нравственные и философские идеи, воплощенные в образе Зулейхи. В отличие от своих персидских предшественников, Кул 'Али считал основным условием существования здоровой и счастливой семьи моногамию и в этом он близок великому Низами. Любовь в «Кысса-и Иусуф» воспевается как нравственно чистое и возвышенное чувство; тюркская поэма свободна от эротики, характерной для персидских разработок сюжета. Автор видит в этом одну из причин того, что на протяжении многих веков татарский народ считал поэму своеобразным нравственно-этическим кодексом человеческих отношений.

Н. Хисамов анализирует основные художественные приемы Кул 'Али, раскрывает

связь творчества поэта с фольклором тюркских, в том числе булгаро-татарского, народов и выявляет ее историко-эстетическую базу. Средневековый тюркский читатель был воспитан на фольклорных традициях, и вкусы его определялись фольклорной эстетикой. Поэт, стремившийся к тому, чтобы его произведение было доступным широким массам, не мог не учитывать этого. Кул 'Али в эпилоге поэмы прямо говорит об этом. С другой стороны, тюркская поэзия в эпоху Кул 'Али еще не имела собственных традиций в построении сюжета, поэтому поэт обратился к народным сказкам и дастанам. В числе многих примеров влияния фольклора на сюжетную канву «Кысса-и Иусуф» автор монографии указывает ряд традиционных мотивов волшебных сказок — вешие сны, преодоление внезапно возникающих труднопреодолимых препятствий и т. д. Динамичный диалог в поэме как композиционно-стилистический прием Н. Хисамов объясняет влиянием дастанов. При индивидуализации речи персонажей Кул 'Али также использует фольклорные традиции: речь героев афористична, насыщена мудрыми изречениями.

Н. Хисамов выявляет тюркский колорит в трактовке сюжета и в изображении героев. Реалия в поэме характерны для тюркской и в особенности булгаро-татарской этнографии. Приводимый этнографический, языковой и фольклорный материал, раскрытие исторических особенностей эпохи, в которую создавался памятник, позволили автору сделать интересные выводы. Так, выявленное в монографии совпадение времени написания «Кысса-и Иусуф» с эпохой монгольских завоеваний, по мнению автора, свидетельствует о том, что ее появление в начале XIII века приобретало чрезвычайно актуальное звучание. Кул 'Али в своей поэме призвал к единству, сплоченности перед лицом нависшей опасности. Н. Хисамов отмечает такую закономерность: великие литературные произведения, близкие по своему идейному и художественному звучанию, появились почти в одно и то же время: это поэмы Низами, «Витязь в тигровой шкуре» Шота Руставели — на Кавказе, «Слово о полку Игореве» — на Руси, «Кысса-и Иусуф» Кул 'Али — в Поволжье. Все они созданы в XII—начале XIII века.

Многие страницы монографии и послесловие, озаглавленное «Волшебные нити», посвящены бытованию «Кысса-и Иусуф» в татарском народе. Абсолютное большинство обнаруженных рукописей поэмы — количество их сегодня достигает 180! — выполнено татарскими переписчиками. С 1839 года поэма издавалась Казанским университетом около восьмидесяти раз.

На протяжении всей своей истории татарский народ относился к «Кысса-и Иусуф» как к национальному эпосу. Боль-

шое место, занимаемое поэмой в социально-исторической и духовной жизни татар, объясняется ее близостью к татарскому фольклорному эпосу. В качестве приложения к книге опубликованы десять вариантов татарских напевов к поэме «Кысса-и Йусуф», напечатаны соответствующие фотоматериалы.

Н. Хисамов, раскрывая историко-культурное значение «Кысса и Йусуф», подчеркивает общетюркское значение памятника.

Автор убедительно показал, что эстетические взгляды Кул 'Али определялись гуманистическими тенденциями в литературах мусульманского Востока. Автор, характеризуя «восточный Ренессанс», выступает против отождествления некоторыми учеными гуманизма в восточных литературах с западным Ренессансом, считая, что, несмотря на типологическую схожесть многих идейно-эстетических черт, эти два явления отличаются одно от другого по своим социально-историческим и художественным истокам и последствиям. Заслуживают внимания рассуждения автора о творческом методе средневековой татарской литературы.

Н. Хисамов выявил историческую закономерность обращения многих писателей к сюжету о Йусуфе, основная идея которого сводится к миролюбию и братству, к

утверждению права человека на счастье, воспеванию нравственного и физического совершенства личности, к защите справедливости. В социально-политических условиях и побудительных мотивах разработки всех знаменитых версий сюжета, начиная от поэмы Кул 'Али и кончая произведениями Томаса Манна и Назыма Хикмета, имеется много общего. Кул 'Али, создавая поэму, стремился призвать страну к единству в борьбе с внешним врагом, Шайяд Хамза (XIII век) — заботился об устойчивости государства сельджукидов, Дурбек (XV век) — разоблачал распри тимуридов, Андалиб (XVIII век) — сочувствовал туркменским и узбекским пленникам, угнанным на чужбину во время походов Надир-шаха, Томас Манн и Назым Хикмет — выступали в защиту гуманизма в условиях фашистской опасности, нависшей над их странами и всем человечеством.

Н. Хисамов указывает также на важное значение выявления поэтических традиций Кул 'Али в татарской и других тюркских литературах. Рецензируемая монография, несомненно, привлечет внимание тюркологов — историков литературы.

Э. Р. Тенишев, Х. Ш. Махмудов

«РЕВОЛЮЦИЧЧЕНХИ ЧАВАШ ЛИТЕРАТУРИ. ТЕКСТСЕМ»

ЧАВАШ КЕНЕКЕ ИЗДАТЕЛЬСТВИ, ШУПАШКАР, 1984, 464 стр.

Перед авторами монографии «История чувашской литературы дореволюционного периода» стояла проблема освещения ее истоков и периодизации. Согласно утвердившейся в послевоенные десятилетия традиции, многие исследователи считали, что даже в XIX веке чувашская литература была представлена лишь немногочисленными авторами, причем некоторые из них писали на русском языке. В связи с этим возникла необходимость поиска еще не выявленных чувашских писателей или их затерявшихся произведений, а также установления авторства уже известных текстов.

Итоги работы исследователей над созданием истории чувашской литературы дооктябрьского периода представлены в рецензируемом издании, состоящем из двух разделов: «Литература средних веков» и «Литература нового времени».

Первый раздел посвящен чувашскому фольклору, создававшемуся на протяжении многих веков. Сюда же включены не-

которые исторические тексты, повествующие о предках чувашей (Ахмеда ибн Фадлана, ал-Гарнати и др.), а также образцы «кладбищенской поэзии» XIII—XIV веков.

Перед деятелями чувашской культуры XVIII — первой половины XIX века наиболее остро стояли вопросы создания письменности и общенародного литературного языка, в частности языка поэзии.

Нам представляется правомерным распределение чувашских текстов в издании (созданных только до конца XIX века) по следующим периодам: 1) конец XVIII — первая половина XIX века (период формирования письменной литературы) и 2) вторая половина XIX века (период просветительства).

Наиболее сложным и интересным по материалу является период формирования художественной литературы, охватывающий примерно восемь десятилетий (от издания книги «Сочинения, принадлежавшие к грамматике чувашского языка» в 1769 г. до кон-

на 50-х годов XIX века). Как видно из приведенных в издании текстов, в XVIII веке чувашский литературный язык выполнял главным образом функции языка переводов. В этот период многие чувашские писатели пользовались в своем литературном творчестве русским языком, а затем уже переводили свои произведения на чувашский.

Функциональная значимость чувашского литературного языка возрастает в первые десятилетия XIX века, когда ряд церковнослужителей начинает читать проповеди на чувашском общелитературном языке. Для этого периода характерно свободное переложение содержания церковнославянских книг на общелитературный чувашский язык. С нашей точки зрения, такие литературные тексты в рецензируемом издании отражены недостаточно. Отсутствуют в нем образцы свободных переложений содержания церковных книг П. Талиева, противоязыческих проповедей И. Протопопова, В. Вишневского и других, представляющие собой оригинальные тексты, не лишенные определенного художественного значения.

В 30—40-е годы XIX века от чувашского общелитературного языка отпочковывается язык поэзии, восходящий прежде всего к народному поэтическому творчеству чувашей. Формированию чувашской книжной поэзии способствовала публикация песен. В рецензируемое издание включены народные и оригинальные песни и такмаки (декламационные стихи) поэтов-импровизаторов Хведи, Ягура, а также стихотворение Максима Федорова «Мы чувашами родились...».

Творчество Спиридона Михайлова (Яндуша) связано с периодом завершения формирования чувашского литературного языка и распространением просветительских идей, которые нашли яркое воплощение в его произведениях начала 50-х годов. В том вошла часть очерков и рассказов писателя, однако хотелось бы видеть опубликованным и его эпистолярное наследие, которое, несомненно, расширило бы наше представление об одном из первых просветителей народов Поволжья.

В книге хорошо отражен и другой путь развития чувашской художественной литературы. Очерки Е. Рожанского (1741—начало XIX в.), Н. Бичурина (1777—1853), В. Вишневского (1804—1885) и других явились образцами чувашской литературы на русском языке. С. Михайлов (Яндуш) обогатил чувашскую литературу художественными очерками и рассказами, написанными на русском языке, пропагандировавшими идеи передовой русской интеллигенции, способствовавшими пробуждению общественного сознания чувашского наро-

да. Параллельно на чувашском и русском языках создавали свои произведения и писатели последующих периодов—И. Яковлев, М. Федоров, Н. Охотников, Г. Комиссаров и др. В рецензируемое издание вошли и некоторые произведения на русском языке (см. «Приложения», стр. 347—400). Хотя в книге упоминаются имена многих писателей, однако чувашская литература первого периода (XVIII — первая половина XIX в.) представлена произведениями только трех авторов. На наш взгляд, эту часть следовало бы дополнить включением неопубликованных произведений Е. Рожанского, И. Протопопова и В. Вишневского. Как известно, на В. Вишневского сильное влияние оказывал востоковед-литератор Н. Я. Бичурин, тесно связанный с кругом декабристов и представителями передовой русской интеллигенции первой половины XIX века.

Второй период развития чувашской литературы (период просветительства) представлен в книге наиболее полно и ярко. Здесь приводятся имена писателей, оставшихся неизвестными до настоящего времени (М. Дмитриев, Г. Филиппов, М. Арзамасов, Н. Ефимов, Д. Архипов и др.), а также образцы ряда неизвестных ранее литературных произведений. Можно надеяться, что эти новые материалы помогут разрешению споров относительно творческого метода писателей этого периода.

В предисловии подчеркивается, что булгарское наследие, дошедшее до наших дней, является общим достоянием культуры всех тюркоязычных народов Поволжья и Приуралья. В связи с этим хотелось бы отметить, что историю собственно чувашской литературы (художественной культуры) следует, по-видимому, начинать с XIV—XV веков, то есть со времени формирования чувашской народности. Предысторией же чувашской литературы (как и литературы других тюркоязычных народов региона) является древнетюркская литература. Авторам следовало бы подробнее остановиться на особенностях этой литературы, которая по праву считается общим культурным достоянием всех тюркоязычных народов. С нашей точки зрения, «История чувашской литературы дореволюционного периода» должна была включить отдельный раздел по древнетюркской литературе, отражающий предысторию ее развития.

Высказанные замечания несколько не умаляют общего значения рецензируемого издания, в котором нашли успешное решение многие важнейшие проблемы истории чувашской литературы.

В. Г. Родионов

«РУССКО-ТАТАРСКИЙ СЛОВАРЬ»

ИЗД-ВО «РУССКИЙ ЯЗЫК», М., 1984, 734 стр.

В Татарской Автономной Республике, где издавна рядом живут и трудятся татары и русские, появление двуязычных словарей и справочных изданий по татарскому и русскому языкам всегда было заметным явлением в культурной жизни народа. Все это в полной мере относится и к недавно вышедшему в свет под редакцией доктора филологических наук Ф. А. Ганиева «Русско-татарскому словарю». Подобного рода издания особенно актуальны в настоящее время, в период широкого развития национально-русского двуязычия. Авторам Э. М. Ахунзянову, Р. С. Газизову, Ф. А. Ганиеву, Л. Т. Махмутовой, М. Г. Мухамедиеву, Х. Н. Мухаметшину, К. С. Сабирову, Ф. Х. Хасанову удалось создать русско-татарский словарь общего пользования, в основном отвечающий современным требованиям филологической науки и рассчитанный на преподавателей, учащихся, переводчиков, работников печати, радио и телевидения, а также массового читателя. Он, несомненно, будет полезен и научным работникам, занимающимся сравнительной типологией русского и татарского языков.

За полтора десятилетия, прошедших со времени выхода в свет последнего одноязычного русско-татарского словаря, включившего в себя около 50 тысяч слов, лексика как русского, так и татарского языка заметно обновилась: пополнилась новыми словами, обогатилась новыми значениями, сложились новые нормы употребления старых слов, некоторые слова вышли из активного употребления. Одной из важных задач нового «Русско-татарского словаря» было, как указано в предисловии к нему, отразить все эти изменения. Именно этим объясняется включение в число его источников специального словаря-справочника «Новые слова и значения», составленного по материалам прессы и художественной литературы 60-х годов. В большей своей части эти новые слова (возникшие на почве русского языка и его заимствований) фиксируют новые явления в реальной действительности. Появление их отражает изменения в жизни людей в их общественной деятельности, в науке и технике (см. в словаре слова *луноход, наставничество, дискотека, приводниться, фломастер, универсам* и др.).

В соответствии с задачами словаря составители по-новому построили многие словарные статьи: ввели указания на не отмеченные в предыдущих словарях значения слов, привели живые для современного языка соотношения значений (см. *наставник 'остаз', морж 'кышын бәкедә су коенучы'* и другие, отсутствовавшие в «Русско-татарском словаре» 1971 года).

В рецензируемый словарь не включены слова и значения явно устаревшие, вышед-

шие из активного употребления в связи с исчезновением соответствующих реалий; не вошли в словарь также слова, замененные другими более употребительными эквивалентами, а также узкоспециальные термины, не получившие широкого распространения (так, например, не вошли в словарь такие слова, как *амброс, астролет, верблюжатник, ларечник, ласа, неофит, тантьема, юдофоб* и др.).

Жизнь вносит в словарное дело свои изменения и дополнения, выдвигает новые требования. Меняются также функции и назначение словарей. Русско-татарские словари не только помогают овладению русским языком, но и способствуют повышению культуры русской речи у татарского населения. Словари являются, как писал С. И. Ожегов, «важнейшим источником распространения и укрепления норм русской литературной речи».

В рецензируемом словаре отчетливо прослеживается стремление авторов помочь читателю правильно употреблять слова. Значительно шире, чем в упомянутом выше предшествующем словаре, представлен здесь словосочетания, причем многие из них относятся к разряду активно используемых в современном языке (*разрядка международной напряженности, знак качества, продовольственная программа, олимпийская деревня, профессиональная ориентация* и др.).

Большая группа слов, в основном интернационализмов, сопровождается толкованием на татарском языке. Информативность словаря повышает и развернутая грамматическая характеристика различных частей речи.

Из нововведений хотелось бы отметить также выделение в особые словарные статьи словообразовательных элементов: *авиа-, био-, гидро-, радио-, свеже-, строй-, -строй, теле-, вы-, воз-, под-, с-, пере-, раз-* и др. Благодаря этому словарь фактически охватывает большее количество слов, нежели указанные в нем сорок семь тысяч. Словарь толкует много новых, сравнительно недавно вошедших в употребление слов; например, в языке прессы и литературы 70-х годов использовалось около пятидесяти не отраженных в словарях слов с элементом *теле-* (*телереклама, телесценарий, телетрансляция* и др.), более шестидесяти слов с элементом *био-*, около ста двадцати слов с элементом *радио-* (*радиодеталь, радиомеханизм, радиопропаганда, радиопереносчик* и др.). Работа в этом перспективном направлении, несомненно, должна быть продолжена, тем более что в лексике современного русского литературного языка, по подсчетам ученых, более 90% — производные слова.

Внимательный читатель словаря, вероятно-

но, обратит внимание на отсутствие в нем некоторых слов, отдельных значений и выражений. В немалой степени эти пропуски объясняются спецификой составления и издания словаря. Во-первых, однотомный словарь, как известно, будучи ограничен в объеме, не может в достаточной степени охватить всю лексику даже **литературного** языка. Четрехтомный же русско-татарский словарь был издан в 1955—1959 годах. Теперь, видимо, назрела необходимость в издании полного русско-татарского словаря, например, на основе нового четырехтомного «Словаря русского языка» (М., 1981—1984). Во-вторых, словари (даже однотомные) обычно появляются не чаще, чем через 10—15 лет, и поэтому не могут своевременно отражать все изменения, происходящие в словарном составе языка. Думается, было бы целесообразно на страницах периодической печати, а еще лучше в виде отдельных изданий публиковать в качестве дополнения к словарям русско-татарские словарики новых слов. Эти дополнения могли бы более полно и оперативно регистрировать разговорную лексику, что немаловажно в условиях активного двуязычия.

К чести составителей следует отметить, что они по возможности учли замечания и пожелания читателей и рецензентов предыдущих словарей (пересмотрели состав словаря, уточнили пояснения и т. д.).

Вместе с тем рецензируемый словарь не лишен отдельных недостатков и упущений. Так, в подаче и переводе русских приставок нет единообразия. По многим из них указаны средства их перевода на татарский язык (например, по приставкам «в», «о»,

«по», «под», «с» и т. д.). По приставке «до» (стр. 134) это не сделано, а дано лишь пояснение ее значений на татарском языке. Приставка «за» вообще не приведена в «Словаре».

В словарных статьях приводятся и переводятся иллюстрации, то есть актуальные словосочетания, представляющие собой речевые единицы. В то же время в словарных статьях даются и языковые единицы, то есть сложные слова, устойчивые словосочетания. В «Словаре» как речевые, так и языковые единицы набраны полужирным шрифтом. На наш взгляд, стоило бы их различать и шрифтом, ибо они — явления разного уровня.

В «Словаре» русские глаголы в инфинитивной форме переведены на татарский язык именем действия на -у/-ү, что создает дополнительные трудности при грамматической идентификации русских и татарских глаголов. Поэтому, по нашему мнению, русские глаголы следует переводить на татарский язык также инфинитивами, то есть татарскими глагольными формами на -рга/-ргә.

В «Словаре» не вошли некоторые современные широко употребляемые слова: «природоохранный», «противоалкогольный», «Черноземье» и т. д.

Несмотря на указанные и другие частные недостатки, рецензируемый «Русско-татарский словарь» в целом, можно сказать, полностью удовлетворяет потребности современного читателя.

К. З. Зиннатуллина,
К. Р. Галиуллин

Э. М. МУРЗАЕВ. СЛОВАРЬ НАРОДНЫХ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ

ИЗД-ВО «МЫСЛЬ», МОСКВА, 1984, 653 стр.

Словарь содержит около четырех тысяч статей, в которых в общедоступной форме толкуются народные географические термины нашей страны. Рецензируемый словарь включает наряду с русскими терминами большое количество народной географической номенклатуры ряда национальных республик, в том числе и тюркоязычных. Автор отмечает, что «процесс перехода народных географических терминов в научную терминологию продолжается и в наши дни, что наиболее ярко проявляется в советских национальных республиках, где ученые вводят их в специальную литературу» (с. 6).

В каждой из статей словаря автором указывается языковая принадлежность терми-

на и раскрывается его этимология.

Значительное место в рецензируемом словаре занимают тюркские географические термины¹, в том числе такие, как *бармак* 'палец', *кайнаг*, *кайнар* 'сильно бьющий источник', *гая* или *кая* 'скала, утес', *гёль*

¹ Тюркским географическим терминам посвящены, например, следующие работы: Г. К. Конкашпаев. Казахские народные географические термины. — «Известия Академии наук Казахской ССР», 1951, № 99 (3). М. Гельдиханов. Местные географические термины Туркменистана. Автореф. канд. дисс. Ашхабад, 1973; Р. Јузбашов. Азәрбајҹаь чоғрағија терминлари. Бақы, 1966.

‘озеро’, *гәз* ‘глаз’, *клобук* ‘шапка’, *коба* ‘пещера, горная долина’, *коин* ‘пазуха’, *кол* ‘река’, *кыр* ‘поле, степь, плато’, *орта-лык* ‘остров, просека’, *отаг* ‘жилище, шалаш’ и другие; ряд терминов дан с вариантами в различных тюркских языках: *агыз*, *агыш* ‘устье реки, проход, ущелье’ с формами *ауыз* (у казахов и башкир), *ооз* (у киргизов), *аас* (у тувинцев и хакасов) или *яйла* ‘летнее пастбище’ с формами *яйлов* (у узбеков), *жайлау* (у казахов), *жайлык* (у балкарцев), *чайлаг* (у тувинцев) и т. д. Статьи, посвященные тюркским и монгольским географическим названиям, включают термины *алан*, *алатау*, *ангар*, *арык*, *баир*, *балка*, *балкан*, *баш*, *бом*, *булак*, *тала*, *дам*, *нур*, *озен* и многие другие.

Автор, несомненно, провел большую и кропотливую работу, создав словарь-справочник, в котором нуждаются не только географы, но и представители других профессий. Однако толкование некоторых терминов в словаре нуждается в уточнении. Остановимся на некоторых из них. Так, например, автор полагает, что топоним *Аккум* восходит к глагольной основе *акмаг* ‘течь’, ‘сыпаться’ (с. 43), однако топонимы типа *Каракум*, *Кызылкум* и гидронимы типа *Агсу*, *Гарасу* исключают возможность такого толкования термина *Аккум*. Скорее всего этот топоним означает Белые Пески (ак ‘белый’, кум ‘песок’). Иногда терминологические параллели напрашиваются сами собой, например, азербайджанское *базы* ‘холм, бугор, насыпь’ и тувинское *базырык* ‘курган’: автором приводятся топонимы *Османбазыдаг* и *Достубазы* (с. 64). В Азербайджане распространен географический термин *боз* со значением «голая, безлесная степь» (с. 88). У впадения Шамхорчая в Куру находится *Османбазы*. В словаре сопоставляется тюркское *боз* с монгольским *бор* (с. 88). К явлениям ротацизма можно возвести и азербайджанский топоним *Гыз галасы*, переводимый обычно как «Девичья башня». Такие башни имеются в Ярдымлинском, Кедабекском, Шемахинском и других районах Азербайджана. Девичьи башни известны и в Иранском Азербайджане. Азербайджанские слова *гыз* ‘девушка’, *гызармаг* ‘краснеть’, *гыздырмаг* ‘лихорадить’ относятся к одному и тому же гнезду слов с корнем *гыз* (имеется соответствие в чувашском: *хёр* ‘калиться, закалиться, накаливаться’, *хёрй* ‘жар, жара’, *хёрйлен* ‘сделаться горячим’, *хёр* ‘дочь’)², восходящему в конечном счете к древней форме *гыр* ‘огонь’. Таким образом, *гыз галасы* означает, по-видимому, «сигнальная башня». «Девичьи башни», как известно, вытянуты в линию: поднявшись на одну, можно увидеть другую; если цепочка прерывается, то, значит, следует искать остатки

башни под землей. Цепочка башен тянется от северных границ Азербайджана до Ирана. Иногда она начинается у моря. К сожалению, в рассматриваемом словаре всех этих сведений о *Гыз галасы* не приводится.

Не всегда автору удается раскрыть значения нетюркских географических названий. Так, в одном ряду с *Караязы*, *Агуджаязы* (язы в древних и современных тюркских языках означает «степь, равнина») упоминается в словаре и *Гилизи*. Местное произношение этого топонима — *Гилизи*. Следовательно, последний топоним не содержит элемента *язы* и, по-видимому, относится к иранским названиям (с. 646). То же самое можно сказать о топониме *Балаханы*. Этот топоним неправомерно включен автором в «единный топонимический ряд» *Балканы—Балхан—Бархан* и т. д. (с. 75). *Балаханы* — географическое название, включающее иранский термин *хань* ‘источник, колодец, водоем, озеро, бассейн’ наряду с Кюрдеханы, Сураханы, Новханы³. В другой статье «хана, хане» (с. 590) автор объединил два различных по смыслу термина: *хана* ‘дом, помещение’ и *хань* ‘источник, колодец’. В результате в одном ряду оказались упомянутыми географические названия *Ханалар*, *Чархана* (с корнем *хана*) и *Сураханы*, *Балаханы* (с корнем *хань*).

В одном ряду автором упоминаются и такие термины, как тюрк., монг. *бел*, туркм. *бил*, шор. *пель* ‘талия, поясница’ и чув. *пилек*, тогда как последнее слово восходит к *беш* и, конечно, не имеет ничего общего с *бел* и т. д.⁴ Термин *каркар* (с. 261) толкуется автором как «груда камней». На Кавказе это слово является этнонимом, упоминавшимся еще Страбоном, а позднее — древнеармянскими историками⁵. Местное произношение названия Баку — *Баки* (иное произношение — *Бекй*). В одном ряду с этим топонимом могут стоять *Лекй*, *Мекй* и другие аналогичные названия. По-видимому, этимологизация топонима Баку из лакского названия неубедительна (с. 67). Этот топоним нуждается в более точной и аргументированной этимологии (см. также с. 112)⁶. Термин *лиман* (с. 342) известен не только в турецком и крымскотатарском, но и в азербайджанском языке главным

³ См.: Р. Юзбашов, К. Әлијев, Ш. Сәдијев. Азербайжан чографи адлары. Баки, 1972, стр. 78—79.

⁴ Подробнее о ламбдаизме в чувашском языке см.: Н. К. Дмитриев. Соответствие л//ш. — В кн.: «Исследования по сравнительной грамматике тюркских языков. I. Фонетика», М., 1955, стр. 320.

⁵ См.: К. Алиев. К вопросу о гаргарах и территории их расселения. — «Доклады АН Азерб. ССР», 1981, № 1, стр. 87—90.

⁶ См.: С. Ашурбейли. Очерк истории средневекового Баку. Баку, 1964, стр. 16 и др.

² См.: Н. И. Ашмарин. Словарь чувашского языка. Чебоксары, 1950, вып. XVII, стр. 27—28.

образом в значении «морской залив». Термины *гяз*, *гёз*, *каз* (с. 167) автор пытается отождествить с тюркским *гёз* 'глаз', но названия *Гяздаг*, *Карагяз* и другие свидетельствуют о том, что в этих топонимах присутствует элемент *-гяз*, *-яз*, перекликающийся с азербайджанскими формантами *-гуз*, *-уз*, *-ез* и т. д. в оронимах типа *Мургуз*, *Кепез*, *Дерелез* и, может быть, *Эльбрус*. Приведенные оронимы указывают на существование неизвестного пласта древних географических названий.

В словарной статье «раг» (с. 473) можно было бы упомянуть название мидийского города *Рага*, расположенного в предгорьях Загроса. Топоним *Абадкент* (оба компонента иранского происхождения), по мнению автора, представляет собой соединение двух терминов с одним и тем же значением: «город» (селение) + «город» (селение) (с. 36). На самом же деле в этом топониме первый компонент — прилагательное *абад* 'благоустроенный', сочетающийся с существительным *кент* 'деревня, селение'. Аналогичны по форме словосочетания *Дашкертю*, *Кызылкум* (случай первого тюркского изафета без показателя принадлежности).

Интересны представленные в виде отдельных словарных статей, но очень близкие этимологически, топонимы *Балкан*, *Балкаш*, *Балта*, *Балчуг*, где *бал* 'болото, лужа, грязь' (с. 69—70). Что касается терминов *Бара* или *Бера* (по автору, «брод, переправа» — с. 73), то точнее переводить их «заграда на охоте», а также «брод, паром, канал»: *барэ кэздирумэ* 'поливает грядки'.

Автор относит первое упоминание об

Анкире (по-турецки *Анкара*) к VII веку н. э., тогда как у античных авторов этот топоним упоминается значительно раньше (см., например, Арриан, II, 4 и т. д.).

Перед автором стояла задача унификации аналогичных или тождественных географических названий, в русском написании которых нет никакой системы. Это относится и к ряду географических названий, этимологизирующихся на основе тюркских языков. Так, в словаре встречается написание *Акгёль*, *Гёк-Гёль* (с. 142) или *Кара-Богаз-Гол* (с. 87); до сих пор, например, в литературе нет единообразия в написании таких слов, как *Кара чай*, *Карачай* или же *Карачай* и т. п. А эта проблема все еще ждет своего разрешения. Приводя географические названия, совершенно необходимо соблюдать единообразие в их написании, не оставляя при этом без внимания и удобство произношения, благозвучие и т. д. Крайне важно ставить и знаки ударения, чтобы облегчить правильное произношение приводимых терминов.

Для написания своей работы автор привлек большую литературу, значительная часть которой приведена в начале книги (с. 18—34) и попутно в самих статьях. Некоторые из статей иллюстрируются рисунками, помогающими осмыслить тот или иной географический термин.

Рецензируемый словарь Э. М. Мурзаева, охватывающий помимо терминов, утвердившихся в русской географической науке, и географические названия из многих национальных языков, по сути дела является также этимологическим и рассчитан не только на специалистов, но и на широкий круг читателей.

К. Г. Алиев

¹ См.: Р. Лужбашов. Азербайджан чография терминлери, стр. 120—121.

«МАНАС». КИРГИЗСКИЙ ГЕРОИЧЕСКИЙ ЭПОС. КНИГА 1. «МАНАС». КЫРГЫЗ ЭЛИНИН БААТЫРЛЫК ЭПОСУ. 1-КИТЕП

ГЛАВНАЯ РЕДАКЦИЯ ВОСТОЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
ИЗД-ВА «НАУКА», МОСКВА, 1984, 544 стр.

Институт мировой литературы имени А. М. Горького Академии наук СССР с 1971 года издает серию «Эпос народов СССР». Рецензируемый том — десятый в этой серии и первый из четырехтомного издания «Манаса», подготавливаемого совместно с Институтом языка и литературы Академии наук Киргизской ССР. Текст «Манаса» публикуется в записи от крупнейшего сказителя Киргизии Сагымбая Орозбакова.

Как и в других изданиях этой серии, в первом томе публикуются тексты на двух языках: оригинала и перевода. Том снабжен обширным научным аппаратом и рядом статей исследовательского и информативного характера: «Вместо введения» (А. А. Петросян); «Киргизский народный эпос „Манас“» (С. М. Мусаева); «Обзор записей вариантов эпоса „Манас“» (С. М. Мусаева, А. С. Мирбадалевой, Н. В. Кидайш-Покровской); «О принципах перевода

и комментирования текста», комментарии и словарь (все — А. С. Мирбадалева и Н. В. Кидайш-Покровской); «Напевы „Манаса“» с нотными приложениями (В. С. Виноградова).

Киргизский текст был в свое время подготовлен группой ученых Киргизии под руководством Б. М. Юнусалиева и Э. Абдылдаева, а подстрочный перевод на русский язык осуществлен в первоначальном варианте под редакцией К. К. Юдахина и А. Алдашева с участием других ученых.

Текст эпоса занимает более половины книги (по 9488 стихов на каждом языке). Остальную часть книги занимает сопроводительный материал, имеющий и самостоятельное научное значение.

Особый интерес, на наш взгляд, представляет «Обзор записей вариантов...», где приводятся записи на киргизском языке, по рукописям, хранящимся в рукописном фонде Института истории, языка и литературы Академии наук Киргизской ССР, с указанием шифров и других архивных данных — датировки, графики, объема, — а также с информацией о наличии публикаций части этих записей на киргизском, русском и других языках. Эпизоды, как указано составителями, даны «в том порядке, какой присущ... сложившейся общей традиционной сюжетной линии эпоса» (с. 443). Много из этих записей впервые вводится в научный обиход.

В «Обзоре записей вариантов...» приводятся биографические сведения о С. Орозбакове, С. Каралаеве и о шести других известных сказителях, дается краткое изложение их вариантов эпоса, сообщается также о других сказителях — семетейчи, исполняющих в основном две последние части трилогии, и об «исполнителях-популяризаторах эпоса „Манас“» (с. 443—491). Всего упомянуто до тридцати сказителей.

«Обзор записей вариантов...» позволяет сделать некоторые обобщения: о преемственности поколений в роду сказителей-джомку, о целенаправленности вносимых в эпос изменений в трактовке тех или иных сюжетов и мотивов в советское время, об особенностях бытования современного эпоса. Кроме того, вводимые в науку варианты позволяют избежать фетишизации отдельного текста.

Значение всего этого можно ясно увидеть, например, в эпизоде о богатирской деве Кыз-Сайкал, или Сайкал. Сопоставление вариантов проливает свет на ее отношения с Манасом. В вариантах С. Каралаева и Тоголока Молдо она, как и другая богатырка — Оронго (Оронгу), во время первой встречи с Манасом находилась в стане врагов (с. 469—470) и, побежденная Манасом, дала обет в будущем сопроводить его в загробный мир (с. 467, 474). В варианте С. Орозбакова имеется лишь упоминание о единоборстве, а Кыз-Сайкал дает обет только оплакать Манаса после его смерти.

В основу деления на тома при издании «Манаса» положены циклы эпоса, выделенные составителями и подробно перечисленные в «Обзоре записей вариантов...». Эти циклы приводятся в биографо-хронологической последовательности событий жизни главного героя. При этом каждый цикл разбит на ряд более или менее мелких эпизодов. В опубликованном томе содержится цикл I: Рождение и детство Манаса. Первые столкновения юноши с врагами. Избрание Манаса ханом. Содержание остальных томов составят циклы II—X. Все циклы будут даны по варианту С. Орозбакова, исключая концовку эпизода «Большой поход», а также эпизод «Смерть Манаса», не записанные полноценно при жизни этого сказителя. (Они будут даны по варианту Саякбая Каралаева). На такие же циклы разбиты составителями варианты «Манаса», записанные от других сказителей. Как известно, сказания о сыне Манаса Семетее и вунке Сейтеке не были записаны от С. Орозбакова, и в четырехтомник эти части трилогии — вторая и третья — не включены.

В статье С. М. Мусаева приведена история записей «Манаса», начиная с середины XIX века и до последнего времени. Не совсем точно, на наш взгляд, сформулирована мысль автора, что в дооктябрьский период исследования эпоса отражали лишь «научные интересы отдельных лиц» (с. 422). Немалую роль в этом деле сыграли в то время и различные общества, в первую очередь Русское географическое общество. С. М. Мусаев ставит в статье и такие общие проблемы, как генезис «Манаса», его поэтика, патристическое значение.

История развития «Манаса», как считает автор, охватывает период более чем в тысячу лет (с. 437); С. М. Мусаев приводит три основные гипотезы: 1) эпопея слагалась между VII и IX веками на Орхоне; 2) в эпосе нашли отражение войны киргизов с каракитаями (часть киданей); 3) известная гипотеза В. М. Жирмунского о сложении эпопеи в окончательном виде в XV—XVIII вв., при сохранении в ней древних представлений (с. 430). Все эти «пласты» (как сам С. М. Мусаев определяет этапы развития эпоса) рассматриваются автором только в стратиграфическом разрезе, причем внизу располагается архаический мифологический пласт (с. 430—431). Но и эти «пласты», если уж прибегать к терминам археологии, нарушенные, в них многое перемешано. Фольклорное произведение, в особенности эпос, следует рассматривать как непрерывно развивающуюся и обогащающуюся систему. Тогда становится ясно, почему оружием батыру служат одновременно меч, сабля, ружье, даже пушки, почему мифологическое чудовище оказывается правителем конкретно названной страны, а духи-хозяева изображаются рядом с мусульманскими пророками.

С. М. Мусаев четко определяет «тайны» бессмертия древних эпических повествова-

ний и неповторимости своеобразия киргизской художественной культуры»: «Мону-ментальность композиции эпоса „Манас“, виртуозное сплетение многочисленных сюжетов, многокрасочность и многообразие художественных приемов в описании явлений природы, людей, животных, впечатляющая меткость характеристики героев, их поступков, их переживаний» (с. 442).

Отрадно отметить, что в новом академическом издании героический эпос не отгорожен непреодолимой стеной от других жанров фольклора. Помимо общефольклорных приемов (постоянные эпитеты, гиперболы и пр.) «Манас», как и другие эпические произведения, вобрал в себя аксесуары различных жанров: назидания, песни-жалобы, плачи по покойным, завещания, пословицы и поговорки, не говоря уже о крупных жанрах — легендах, преданиях, сказках (см. с. 7, 9, 420 и др.).

Историко-этнографический аспект, характерный для публикуемого издания, делает книгу значимой не только для фольклористов, но и для специалистов разных отраслей исторической науки. «Манас» действительно пронизан историко-этнографическими моментами; в нем, как показывают авторы статей, проступают реалии кочевого и полукочевого быта (поселения и жилища, одежда, пища, пиры и состязания, брачные и другие обряды и обычаи и пр.). Комментарии и словарь соответственно выдержаны в основном в историко-этнографическом аспекте. Хотелось бы, однако, остановиться на некоторых определениях. Неточно, что у бедняков, «как правило», не было полигамии (с. 512); она, конечно, существовала, но редко осуществлялась из-за невозможности приобрести и содержать нескольких жен. Это — не институт моногамии.

В варианте С. Орозбакова, по нашему мнению, слишком расплывчат эпизод, повествующий о том, как отец отдал Манаса в обучение пастуху. Это не позволило авторам комментариев увидеть в данном эпизоде отражение одного из древнейших институтов — аталычества. Тем более, что образ пастуха Ошпура в эпосе противоречив: он то овчар, то бай (с. 274—275 и др.). Вопрос Чыйырды к Ошпуру: «Как поживает твой (курсив наш. — Р. Л.) сын?» (с. 288) — не является выражением «уважения» к пастуху (с. 519), а, видимо, условное, обрядовое обращение к аталыку, временно обретающему отцовские права. Обычай отдавать ребенка из знатной семьи родственнику или чужому лицу — «аталыку» был порожден, вероятно, соображениями безопасности или желанием переложить на зависимых людей часть бремени содержания и воспитания ребенка. Обычай этот известен и у некоторых кавказских народов.

Историческую обстановку, отраженную в киргизском эпосе, характеризует во Введении А. А. Петрян, перечисляя «сюже-

тообразующие события»: «столкновения киргизских племен с чужеземными захватчиками, взаимный угон табунов, жестокие поединки... многодневные походы, победы и поражения, торжественные многолюдные поминки и народные праздники» (с. 7).

Особое внимание уделено во Введении коням, которым, как известно, в эпосе отводится важная роль: «...кони являются неизменными участниками боевых сражений. Они имеют свои постоянные клички, свои особые повадки, свой перечень подвигов и неудач — словом, свою биографию. Описания масти коня, его бега, его умения понимать не только приказания хозяина, но и его душевное состояние занимают обширное место в повествовании» (с. 8). В эпос «Манас» включено много бытовых моментов, связанных с особенностями местного коневодства.

В первом публикуемом томе эпоса «Манас» в основном говорится о стригунках, двухлетках, трехлетках (с. 321, 436, 520 и др.), а не о взрослых лошадях. Роль коней в жизни героев эпоса, тоже подростков, еще невелика. Знаменитый конь Манаса Аккула упоминается только в связи с тем, что его чуть было не принесли в жертву при полусуточном избрании Манаса ханом — главарем ватаги его сверстников. Поэтому, по нашему мнению, не целесообразно рассматривать тему о богатырских конях до выхода в свет остальных томов, в которых описываются скачки, жертвоприношения, боевые схватки конников, вещие кони — советчики и спасители.

Сказанное относится и к остальным сквозным темам «Манаса» — родоплеменным отношениям и установлениям, батальным сценам и пр. Темой данной рецензии является сам тип издания, его установки и некоторые моменты, относящиеся к содержанию эпоса.

В статье В. С. Виноградова «Напевы „Манаса“» не уделяется специального внимания любопытному явлению как в музыке и поэзии тюркоязычных народов, так и в их музыкальной и поэтической терминологии: определению ритмов аллюрами конского бега. Автор все же называет один из этих ритмов — *джорго сёз* 'плавная, спокойная, величавая речь' или 'напевное скандирование стиха' (с. 495), то есть подобные бегу иноходца. Как нам кажется, интересно было бы проанализировать в этом аспекте одну из нотных записей (приложенных к статье): эпизод скачки коня Тайтору, управляемого Каныкей. Конь не сразу берет нужный темп, но затем вырывается вперед и побеждает (с. 497—499; нотная запись № 20а). («Конские» ритмы в музыке, поэзии и хореографии известны и у других народов с развитым коневодством).

В. С. Виноградов в своей статье дает обзор развития форм киргизской народной песни от архаической «немузыкальной», с неразработанным неравносложным стихом,

местами перебиваемым нестихотворной речью, ко все более четкому делению на стихи с упорядоченным ритмом и числом слогов и т. п. Автор отмечает модификацию музыкального исполнения эпоса (имеется в виду вокал, так как инструментального сопровождения нет) в зависимости от аудитории и самого исполнителя, его популярности. Так, о С. Каралаеве «конца 50—60-х годов» говорится: «Раньше он пел более непосредственно, находился во власти охватившей его эмоции, а в последние годы стал проявлять большую сдержанность, известную художественную расчетливость, чувствовалось влияние „саморежиссуры“» (с. 493). Это тонкое наблюдение характерно также и для исполнения словесной части эпических произведений. Завоевавший известность сказитель эпоса (будь-то тюркский эпос или русские былины) оценивает себя, как мастера, не только отстраненно, но и старается поддержать заслуженную им репутацию виртуоза. Можно было бы отметить, что отсутствие инструментального сопровождения при исполнении «Манаса» делало еще более значимыми искусство мимики и жеста, элементы драматизации. Этим подтверждается мысль автора «Введения»: «Искусство манасчи напоминает театр одного актера» (с. 8).

Исключительно большое место в комментариях и словаре отводится пояснениям ономастических терминов, в особенности топонимов и этнонимов, в меньшей мере антропонимов и иппонимов. Возможно, целесообразнее было бы посвятить этой лексике особый аннотированный словарь или же включить соответственно в комментарии, тем более, что наиболее развернутые из словарных пояснений вообще близки комментариям.

Не совсем ясно, как следует понимать то, что все топонимы, «и реально существующие, и традиционно эпические, и вымышленные — не выполняют функции конкретных реалий, ...создавая в целом определенный мир, в котором живут и действуют герои» (с. 511). Сами авторы пишут: «Значительная часть географических названий, при всей условности их функционирования в эпическом контексте, существовала или существует реально. Это названия стран, городов, рек, гор, озер... Некоторые из топонимов связаны с той территорией, откуда перемещались и где оседали киргизские роды и племена в прошлом» (с. 511). И дальше: «Незначительную группу составляют топонимы, традиционные для эпоса и сказок многих тюркоязычных народов» (там же), — да и они, добавим, чаще всего имеют реальную основу. Почему же следует усматривать непременно «опосредствованное отражение» действительности в них и в этнонимах, одновременно утверждая, что «большинство этнонимов — это название реально существовавших родоплеменных групп и народов» самих киргизов, а также тех, с которыми киргизы истори-

чески «взаимодействовали и сталкивались»? А таких этнонимов в первом томе около сорока. Отмечается общее явление для эпосов: племенное или родовое название становится собственным именем персонажа (например: эштеки — племя, но в «Манасе» Эштек — собственное имя, так же как Багыш) (с. 518).

Составителям словаря, на наш взгляд, может быть, стоило бы упомянуть о мнении некоторых исследователей, считающих, что Кёйкап (Кейкоф, Каф) не только «мифическая горная цепь, ...окружающая землю по краю» (с. 531), но и отголосок смутного представления о горах Кавказа? В словаре, говоря о топонимии, часто ссылаются на исторические факты, «географическую реалью», указываются соответствия в звучании или делается оговорка: «эпический» топоним, «возможно вымышленный, или микротопоним» (с. 528). С. М. Мусаев отмечает в своей статье реальную широту географического охвата топонимии: от Алтайского края до территории современной Киргизской ССР, от Гоби до Тибета, от Урала до Черного моря, причем изображаются реальные ландшафты, земли, «идеальные для жизни в понятии кочевников» (с. 432—433).

Полезно было бы приведение карт реальных топонимов, упоминаемых в эпосе, размещения племен, а также мест записи вариантов «Манаса» и проживания сказителей и т. д.

Во «Введении» говорится также о том, как трудно, «сохраняя художественную целостность и не нарушая сложившуюся веками структуру повествования, ограничить его объем» (с. 10). Можно было бы, вероятно, сделать это отчасти за счет повторов. Объем текста «Манаса», исполняемого Сагымбаем Орозбаковым, сильно разбухает благодаря повторам-воспоминаниям; возможно, в данном издании можно было бы не всегда помещать их, а ограничиться только упоминанием (например, на с. 324—339 об игре в *ордо* и др.).

Язык изданной книги, при всей его академичности, прост и доступен широкому кругу читателей. Удовлетворяет и художественная сторона перевода.

Однако хотелось бы сделать и ряд замечаний. Манас родился зажав в каждой руке «полную горсть крови» (с. 257). Обычно переводят «сгусток» крови. Тряюк переведен термин, определяющий воинскую функцию Алмамбета. Он назван «предводителем войска» (с. 485), «ведущим» войско (с. 455, 464) и «проводником» (с. 469); последнее, видимо, точнее в данном контексте, так как Алмамбет ведет киргизское войско на свою родину и знает пути туда. Вряд ли следовало брать французское слово для определения «кокетливые» (с. 368). Прямое введение заимствованного пословичного речения — русизма «задали жару» (с. 401) следовало бы заменить дословным переводом оригинала. Странно звучит в эпосе неоднократно повторяемый глагол «лопо-

тать» — о непонятном иностранном языке (с. 309, 315, 321).

«До настоящего времени, — пишут А. С. Мирбадалева и Н. В. Кидайш-Покровская, — русский читатель был знаком с эпосом „Манас“ по поэтическим переводам свободных композиций и отдельных отрывков, либо по поэтическим переложениям некоторых частей эпоса». В данном томе, указывается далее, «главное внимание уделялось максимально точной, но не буквальной передаче содержания подлинника и его художественных особенностей». Переводчики, по их словам, «стремились раскрыть смысл каждой строки в пределах достижимой точности (без инвентарного сохранения слов)». Они отмечают трудности, обусловленные наличием «арханской лексики» и «полисемантической многих слов». Переводчики не ставили целью «сохранить размер и рифму», последнее, действительно, не улучшает многие издания; первое же было бы все

же, как нам кажется, желательно соблюдать. «В отдельных случаях, — пишут переводчики, — поэтические средства поясняются в комментариях», в особенности обращается внимание на «непривычную для русского читателя образность, связанную с древней фольклорной традицией» и «историко-этнографическими реалиями», что, конечно, облегчает восприятие текста. На наш взгляд, несколько спорно следующее положение: «дословное сохранение образных средств в переводе привело бы к затемнению их смысла, переводчики шли по пути поиска эквивалента (это касалось и передачи идиоматических выражений)» (с. 510—511). Тут бы и могли прийти на помощь комментарии.

Выход в свет остальных томов этого фундаментального издания еще более приблизит к нам эпос киргизского народа.

Р. С. Лунец

«TURCICA. REVUE D'ÉTUDES TURQUES», TOME XVI

PARIS—STRASBOURG, 1984

Вышел в свет XVI том международного тюркологического ежегодника «Turcica». Сборник открывается двумя некрологами, посвященными памяти турецкого ученого Абдольбаки Гельпынарлы и болгарского историка Бистры Цветковой.

В первой статье сборника А. Темира, Когю Кудара и К. Рёрборна «Древнетюркские фрагменты Амитаба-сутры из Музея этнографии, Анкара» прослеживается история изучения рукописных фрагментов на уйгурском языке буддийской Амитаба-сутры, хранящихся в Музее этнографии Анкары. Авторы публикуют транслитерацию текста и комментированный перевод на немецкий язык. К статье приложено факсимиле фрагментов.

Статья Ху Чжэнь Хуа и Р. Дора «Манас у киргизов Синьцзяна: краткий очерк» посвящена бытованию киргизского эпоса «Манас» в среде киргизов, живущих в Уйгурском автономном районе КНР. Авторы отмечают, что это эпическое произведение является общим для киргизов, живущих в разных странах. В статье анализируются основные характерные черты эпоса в литературоведческом, этнографическом, лингвистическом аспектах, раскрывается ряд особенностей «Манаса», представляющих большой интерес для историков. В КНР, пишут авторы статьи, ведется планомерная работа по письменной фиксации

версий «Манаса», исполняемых сказителями в различных районах, и их сравнительному изучению. Авторами дан подробный разбор одной из версий, принадлежащей сказителю из Уйгурского автономного района КНР Юсупу Мамаю (род. в 1918 г.), а также список встречающихся в версии антропонимов, этнонимов и топонимов.

Автор статьи «Государство и его направляющая роль в Турции» Ф. Ахмад сделал попытку дать научное толкование характерного для османско-турецкого исторического процесса явления — особой «гипертрофированной» роли государства в социально-политической и экономической жизни страны, позволяющей некоторым исследователям видеть в государстве некую самостоятельную силу, якобы не имеющую социальной базы. Ф. Ахмад показывает, что такое значение государство могло обрести лишь в социальном организме с «азиатским способом производства», для которого была характерна особая централизация всех общественных институтов. История Османской империи в XIX веке, а затем республиканской Турции демонстрирует, по мнению автора, большую роль государственной политики, направленной на создание буржуазной социально-экономической структуры, которая, как считают идеологи этой политики, единственно могла обеспечить политическую самостоятельность

турецкого государства и возможность нормального общественного развития.

Статья П. Дюмона «Франкмасонство французского крыла в Салониках в начале XX в.» посвящена истории салоникских масонских лож «Veritas» и «Avenir de l'Orient», имевших свою центральную ложу в начале XX века во Франции. Автор статьи, основываясь на данных документов, хранящихся во французских архивах, разбирает этно-конфессиональный и социальный состав лож в Салониках, прослеживает их связи между собой и с центральной ложей, пытается, насколько это позволяют документы, выявить политическую сторону деятельности лож в канун младотурецкой революции. Вместе с тем именно политические связи лож с турецким революционным движением, как признает П. Дюмон, остаются и ныне наименее исследованной страницей истории масонства, существовавшего в Салониках.

Раздел «Заметки и документы» открывается научным сообщением М. Казачу «Византийские и османские родственные связи историка Лаоника Халкокондила (1423—1470)», посвященным выявлению каналов, по которым Лаоник Халкокондил получал поразительно точные сведения по турецкой истории XV века. Автор проследил целую цепь родственных связей Халкокондила с рядом высокопоставленных аристократических семейств государств балканского и малоазийского регионов и показал, что этот греческий историк находился в дальнем родстве с крупнейшим государственным деятелем османского государства XV века Махмудом-пашой, связанным, как и Халкокондил, родством с владетельными фамилиями. Именно это обстоятельство, считает М. Казачу, явилось причиной сравнительно благополучной судьбы Халкокондила после завоевания турками его родных областей в Греции и сыграло значительную роль в получении им информации, необходимой для написания «турецких» разделов его исторического труда.

В статье Ш. Мардина «Заметка к вопросу о трансформации религиозных символов в Турции» рассматривается проблема влияния религиозного фактора (в рамках функционирования понятия «община») на политические течения в Османской империи (в частности, реформаторские). Проблема решается автором в политико-философском плане, при этом особое внимание уделяется им разбору особенностей политического развития республиканской Турции в широком контексте процесса модернизации, которому подверглось турецкое государство в XIX и XX вв.

Раздел «Слова, люди и вещи» открывает небольшая научная заметка Л. Базена о термине *bellâk/benlâk/bennâk*, в которой

известный французский ученый рассматривает этимологию этого слова, входящего в часто встречающийся в османских документах налоговый термин «*gesm-i bennâk*». Л. Базен считает возможным с точки зрения лингвистических законов возводить *bennâk* (варианты: *bellâk/benlâk*) к слову *bel* 'лопата, заступ'.

В статье Х. Иналджика «Юк (хим.ль) в османской торговле шелком, рудном деле и сельском хозяйстве» дается подробный анализ весовых мер и связанной с ними терминологии в средневековой Османской империи. Опираясь на значительный документальный материал и данные источников, автор описывает чрезвычайно пеструю картину мер весов, употреблявшихся в различных областях османского государства, где длительное время после включения их в состав Османской империи сохранялись локальные весовые единицы и их диалектные названия. Включенные в статью таблицы позволяют сопоставить местные весовые системы с системой весов, принятых османской администрацией. К статье приложены факсимиле нескольких турецких документов, датированных XV веком, в которых содержатся сведения о зерновых весовых мерах «лукна» и «кабал» (или «кыбыл»). К статье Х. Иналджика тематически примыкает и исследование С. Бубакера «Весы и меры в Тунисе в XVII веке: ритл, кафыз зерновых и мтар для масла», в которой автор прослеживает их эволюцию в период с XVII по XIX век. Приводятся им подробные таблицы, показывающие соотношения кафыза и мтара с современными им европейскими мерами весов.

Автор статьи «Османские баш дефтердары и их „подпись с росчерком“ (XVI—XVIII вв.)» А. Велков на конкретном примере разбора подписей главных государственных казначеев Османской империи — баш дефтердаров — на официальных документах характеризует юрисдикцию этих документов при их составлении. К статье приложены факсимиле нескольких подписей из документов, хранящихся в фондах Ориентального отдела Библиотеки Кирилла и Мефодия в Софии.

В разделе «Хроника и библиография» помещено сообщение Я. Шамича «Библиография работ югославских туркологов. I», публикуемое в рамках библиографической программы редакционной коллегии международного научного издания «*Turcica*». Автор представляет собранный им список тюркологических работ югославских ученых, работающих в ряде городов страны.

В томе помещен ряд рецензий на отдельные научные издания и статьи, а также короткие библиографические заметки о новых изданиях.

И. Е. Петросян

НЕКРОЛОГ

ВАХИД АБДУЛЛАЕВИЧ АБДУЛЛАЕВ

30 июля 1985 года скоропостижно скончался видный узбекский литературовед, академик Академии наук Узбекской ССР, заслуженный деятель науки Узбекской ССР, член Союза писателей СССР, заведующий кафедрой узбекской классической литературы Самаркандского ордена Трудового Красного Знамени государственного университета им. Алишера Навои, доктор филологических наук, профессор Вахид Абдуллаевич Абдуллаев.

В. А. Абдуллаев родился 15 мая 1912 года в городе Самарканде в крестьянской семье. После окончания Самаркандского педагогического техникума, а затем Ферганского государственного педагогического института им. Мирзо Улугбека, в 1933—1935 гг. В. А. Абдуллаев проходил аспирантуру при Узбекском (ныне Самаркандском) государственном университете, а в дальнейшем — в Ташкенте и Москве.

В 1935—1943 годах В. А. Абдуллаев руководит кафедрой узбекской литературы в Бухарском, а затем Самаркандском педагогическом институте. Более сорока лет, до самой смерти, он заведовал кафедрой узбекской литературы СамГУ им. Алишера Навои.

В 1941 году В. А. Абдуллаев успешно защитил кандидатскую диссертацию «Алишер Навои в Самарканде», в которой на основе найденных им рукописных материалов раскрыл значение самаркандского периода в творчестве Алишера Навои. Изданная в виде монографии, эта работа В. А. Абдуллаева выдержала три издания.

В 1959 году в Азербайджанском государственном университете им. С. М. Кирова состоялась защита В. А. Абдуллаевым докторской диссертации «Узбекская литература XVII—XVIII веков в Хорезме». Ученый исследовал творчество замечательных представителей узбекской литературы Вафои, Нодири, Равнака, Рокима, Мухаммади Хоксора, Нишати, Умара Боки и др.

В 1960 году В. А. Абдуллаев был избран членом-корреспондентом, а в 1966 году—



академиком Академии наук Узбекской ССР. В 1963—1970 годы он был ректором СамГУ им. Алишера Навои.

Ученый-литературовед, В. А. Абдуллаев пользовался широким признанием филологической общественности как автор ряда монографий, учебников и других исследований. Его перу принадлежат такие работы, как упоминавшаяся «Навои в Самарканде», «Поэт Нишати и его поэма „Хусну дил“» (1955), «Хоксор и его произведение „Мунтахаб-ал-лугот“» (1955), «Хоксор и Нишати» (1960), «Избранное» (1982), а также написанные в соавторстве с Б. Н. Валиходжаевым книги «Самарканд — город ученых и поэтов» (1968), «Дыхание веков» (1970), «Мири и его современники» (1977).

В. А. Абдуллаевым была написана вторая часть учебника «История узбекской литературы (XVII — первая половина XIX в.)» для филологических факультетов университетов и педагогических институтов республики. Этот учебник, отличающийся богатством фактического материала,

написанный доходчиво и увлекательно трижды переиздавался.

В. А. Абдуллаев посвятил исследованию жизни и творчества Алишера Навои три монографии и более ста научных и научно-популярных статей. Он являлся одним из инициаторов создания постоянного комитета по изучению творчества Алишера Навои при президиуме Академии наук Узбекской ССР, членом редколлегии пятнадцатитомного издания собрания сочинений Алишера Навои на узбекском языке и десяти томного издания произведений поэта на русском языке.

В. А. Абдуллаев был одним из руководителей подготовки пятитомного академического издания «Истории узбекской литературы дооктябрьского периода» (Ташкент, 1976—1980 гг.).

С начала 80-х годов по инициативе академика В. А. Абдуллаева в Самарканде и Бухаре был начат и частично завершен коллективный труд «Бухара — город ученых и поэтов (развитие узбекской и таджикской литературы в Бухаре с древнейшего периода до настоящего времени)». В. А. Абдуллаев возглавлял также подготовку обобщающего труда «История литературно-эстетической мысли народов Советского и зарубежного Востока», активно участвовал в написании двухтомной «Истории узбекской литературы дооктябрьского периода» на русском языке.

Перу В. А. Абдуллаева принадлежит ряд художественных произведений, в том числе поэм, стихотворных циклов и документальных повестей. В разные годы были изданы его поэгические сборники «Хайричка» (1935), «Из Самарканда — фронту» (1942), «Самаркандские прогулки» (1970), докумен-

тальная повесть «Эшелон помощи» (1984) и др.

В В. А. Абдуллаеве гармонически сочетались талантливый ученый, замечательный педагог, прекрасный организатор науки. Много внимания он уделял подготовке кадров литературоведов-тюркологов как для Узбекистана, Таджикистана, так и для других тюркоязычных республик и областей страны. В. А. Абдуллаев вел большую общественную работу — был членом правления Союза писателей Узбекистана, республиканского общества по охране памятников старины, комитета по присуждению республиканской Государственной премии им. Бируни, редколлегии «Узбекской Советской Энциклопедии» и журнала «Узбек тили ва адабиёти».

В. А. Абдуллаев дважды избирался депутатом Верховного Совета Узбекской ССР (1963, 1967) и несколько раз депутатом Самаркандского областного и городского Советов народных депутатов.

Научно-педагогическая и общественная деятельность академика В. А. Абдуллаева была высоко оценена партией и правительством. Он был награжден орденами Дружбы народов, Трудового Красного Знамени и «Знак Почета», рядом медалей.

Светлая память о Вахиде Абдуллаевиче Абдуллаеве, крупном ученом, видном деятеле узбекской науки и культуры, навсегда сохранится в сердцах его коллег, учеников, многочисленных читателей, всех, кто его знал.

*Р. Арзибеков, Б. Валиходжаев,
Х. Д. Данияров, Р. Кунгуров,
Б. Юлдашев*

СОДЕРЖАНИЕ

СТРУКТУРА И ИСТОРИЯ ЯЗЫКА

- В. Г. Гузев (Ленинград). О значениях взаимного и понудительного залогов 3

ЯЗЫКОВЫЕ СВЯЗИ

- М. Р. Федотов (Чебоксары). О некоторых тюркских заимствованиях в марийском языке 12

ВОПРОСЫ ФОЛЬКЛОРИСТИКИ

- А. М. Аджиев (Махачкала). Кумыкские свадебно-обрядовые загадки «киритлемелер» 23

ОНОМАСТИКА

- Н. А. Баскаков (Москва). Имена собственные гуннов, булгар, хазаров, сабиров и аваров в исторических источниках 29

ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

- В. У. Махпиров (Алма-Ата). Структурно-функциональное развитие антропонимических формантов в тюркских языках 37

СООБЩЕНИЯ, ОБЗОРЫ

- А. Дж. Шукюров (Баку). К вопросу об этимологии послелога *saɣu/saɣu* и история его развития в азербайджанском языке 45
Ж. М. Гузеев (Нальчик). Производные формы слов в общих словарях тюркских языков 51
Э. Г. Азербайев (Москва). О связи местоимений в японском и тюркских языках 63
А. Ф. Кочкина (Казань). Рунические знаки на керамике Биляра 75
Х. Новка (Айхвальде, ГДР). К истории тюркологии в Берлинском университете 81

РЕЦЕНЗИИ

- А. Т. Кайдаров, Е. З. Кажибекоев (Алма-Ата). К. М. Мусаев. Лексикология тюркских языков 90
А. Г. Нигматов (Бухара). Ф. Абдурахмонов, А. Рустамов. Навоий тилининг грамматик хусусиятлари 92
С. Х. Алишев, Р. Г. Ахметьянов (Казань). Д. Б. Рамазанова. Формирование татарских говоров юго-западной Башкирии 94
Э. Р. Тенишев (Москва), Х. Ш. Махмудов (Казань). Нурмөхəммəт Хисамов. Бəек язмышлы əсəр 96
В. Г. Родионов (Чебоксары). «Революция чаваш литературы. Текстсем» 98
К. З. Зиннатуллина, К. Р. Галиуллин (Казань). «Русско-татарский словарь» 100
К. Г. Алиев (Баку). Э. М. Мурзаев. Словарь народных географических терминов 101
Р. С. Липец (Москва). «Манас». Киргизский героический эпос. Книга I. 103
И. Е. Петросян (Ленинград). «Turcica. Revue d'études turques». Tome XVI. 107

НЕКРОЛОГ

- Вахид Абдуллаевич Абдуллаев 109

CONTENTS

STRUCTURE AND HISTORY OF LANGUAGE

- V. G. Guzev (Leningrad). On reciprocal and causative voices' meanings 3

LANGUAGES IN CONTACT

- M. R. Fedotov* (Cheboksary). On some Turkic borrowings in Mari 12

QUESTIONS OF FOLKLORISTICS

- A. M. Adjiev* (Makhachkala). Kumyk nuptial-ritual riddles «kiritlemeler» 23

ONOMASTICS

- A. A. Bashakov* (Moscow). Proper names of Huns, Bulgars, Khazars, Sabirs and Avars in historical sources 29

DISCUSSIONS

- V. U. Makhpirov* (Alma-Ata). Structural and functional development of anthroponymic formants in the Turkic languages 37

REPORTS, SURVEYS

- A. I. Shukiyurov* (Baku). Towards an etymology of postposition sary/saru and history of its development in Azerbaijan 45
- G. M. Guzeyev* (Nalchik). Derivative forms in general dictionaries of Turkic languages 51
- F. G. Azerbayev* (Moscow). On pronominal bonds in the Japanese and Turkic languages 63
- A. F. Kochkina* (Kazan). Runic marks on the ceramics of Bilayr 75
- Kh. Novka* (Eichwalde, DDR). Turcology in the Berlin University 81

REVIEWS

- A. T. Kaydarov, Y. Z. Kajibekov* (Alma-Ata). К. Мусаев. Лексикология тюркских языков 90
- Kh. Nigmatov* (Bukhara). F. Абдурахмонов, А. Рустамов. Навоний тилининг грамматик хусусиятлари 92
- S. Kh. Alyshev, R. G. Ahmetyanov* (Kazan). Д. Б. Рамазанова. Формирование татарских говоров юго-западной Башкирии 94
- E. R. Tenishev* (Moscow), *Kh. Sh. Mahmutov* (Kazan). Нурмөхәммәт Хисамов. Бөек язмышлы әсәр 96
- V. G. Rodionov* (Cheboksary). «Революция чаваш литературы. Текстсем» 98
- K. Z. Zinnatullina, K. R. Galiullin* (Kazan). «Русско-татарский словарь» 100
- K. Aliyev* (Baku). Э. М. Мурзаев. Словарь народных географических терминов 101
- R. S. Lipets* (Moscow). «Манас. Киргизский героический эпос» 103
- I. Y. Petrosyan* (Leningrad). «Turcica. Revue d'étude turques». Tome XVI 107

OBITUARY

- Vakhid Abdullayevich Abdullayev* 109

© «Советская тюркология», 1985 г.

Технический редактор Б. А. Абдуллаев
Корректоры А. Е. Сорокина, Г. В. Жилин

Сдано в набор 6.11.85 г. Подписано к печати 26.12.85 г. ФГ 20735. Формат бумаги 70×108¹/₁₆. Бум. л. 3.5. Физ. печ. л. 11,2. Уч. изд. л. 10,4.
Заказ 9390. Тираж 2470. Цена 1 руб. 10 к.

Типография издательства «Коммунист», ул. Авакяна, 529 квартал.